

Камиль Лемонье

В плену страсти



Камиль Лемонье

В плену страсти

«Public Domain»

1897

Лемонье К.

В плену страсти / К. Лемонье — «Public Domain», 1897

«Играя золотым карандашиком, доктор сказал мне:– Правильный образ жизни... режим...Но это все не то – не в том болезнь. Болят нервы, болит мозг. Я ведь сам это отлично знаю, но все это не то, это что-то другое...»

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	10
Глава 3	12
Глава 4	15
Глава 5	17
Глава 6	19
Глава 7	22
Глава 8	27
Глава 9	28
Глава 10	30
Глава 11	32
Глава 12	34
Глава 13	37
Глава 14	39
Глава 15	40
Глава 16	43
Глава 17	45
Глава 18	47
Глава 19	48
Глава 20	50
Глава 21	52
Глава 22	54
Глава 23	57
Глава 24	60
Глава 25	62
Глава 26	65
Глава 27	67
Глава 28	70
Глава 29	72
Глава 30	74
Глава 31	76
Глава 32	78
Глава 33	80
Глава 34	83
Глава 35	86
Глава 36	90
Глава 37	93
Глава 38	96
Глава 39	99
Глава 40	101
Глава 41	102
Глава 42	103
Глава 43	106

Камиль Лемонье

В плену страсти

Глава 1

Играя золотым карандашиком, доктор сказал мне:

– Правильный образ жизни... режим...

Но это все не то – не в том болезнь. Болят нервы, болит мозг. Я ведь сам это отлично знаю, но все это не то, это что-то другое...

Выйдя на улицу, я только пожал плечами и разорвал в клочки рецепт. И вот мимо проскользнуло прекрасное милое личико. Личико девочки взглянуло на меня. Я ее не знал, никогда не видал. А ведь она-то лучше всех врачей знает, какая у меня болезнь.

Может быть, я очень уже стар. Во мне сидит древний человек, каким я был в отдаленную веками пору. Да, я уже тогда был одержим этой самой болезнью, – мою кровь сжигал разъедающий огонь. А мне нет даже и тридцати лет!

С нами жил бодрый, красивый дед – в некотором роде великан, достававший потолок, когда вытягивал кверху руки. Зимой он плел силки и сети наверху в своей маленькой, никогда не отапливаемой каморке. Это был очень мягкий человек. Любил очень рыбную ловлю и охоту. К осени уходил в лесную дачу. У нас всегда в изобилии бывала дичь. А однажды я услышал, как весело смеялась одна из горничных.

– Дед еще раз намеревался устроить ребеночка.

Я понял смысл этих слов только гораздо позже.

Дед возвращался домой с первыми хлопьями снега и всегда немного чего-то стыдился. Отец мой сурово выговаривал ему с раскрасневшимся лицом и при моем приближении смолкал. Моя матушка уже была в юдоли беспечальности, покоилась на кладбище в другом конце города.

С течением времени прекратились выговоры отца. Снова передо мной красивый дед, ласкающий меня своими большими руками, которые плели из веревок сети.

Мои воспоминания не простираются дальше. Я был маленьким мальчиком. У меня была сестра старше меня на восемь лет. Она оставила родительский кров, чтобы выйти замуж. Во мне это известие вызвало необъяснимое волнение. Целую ночь я беспокойно ворочался в ее постели, обливаясь слезами и вдыхая аромат ее волос. Она оказалась просто женщиной, и я ревновал ее к своему зятю.

Мы стали жить втроем: дед, отец и я. Иногда в отсутствие моего отца из верхней каморки доносился страшный шум. Дед смеялся смехом, который мне не приходилось слышать ни у кого. Его смех напоминал ржание жеребца в пору любви. И в то же время сверху спускалась то одна, то другая горничная и ругалась.

Затем меня отдали в пансион к иезуитам. В конце года, в зимнее утро, приехал отец и вызвал меня в приемную. Он сказал мне:

– Твой дед умер.

Я понял так, что с этим пришло избавление всему дому. Дед был человеком иной поры, остатком человечества, еще очень близкого к фавнам и сатирам, с инстинктами хищника, но по существу безобидным стариком. Ему следовало бы жить в лесной чаще близ реки, охотясь за самкой и дичью. Будучи уже семидесятилетним стариком, он отправился под осень к себе в лесную дачу, и там от него забеременела жена одного из наших крестьян. Об этом знали все. В окрестностях было очень много маленьких детей, чертами лица похожих на дедушку.

Мне кажется, деда я любил больше, чем отца. Он был ласковым и мягким буйволом среди домашних животных. Мне доставляло удовольствие таскать его за нос, а он меня учил, как вырезать из тростника дудку. Он умел выделять разные незатейливые штучки из дерева – приманки для дичи, пищики, силки, тенета, рукоятки для лопат и кос и тому подобное. Он

подражал тьяканию лисицы, реву кабана, трещанию аиста. Свое богатство – одно из наиболее крупных в нашем краю – он поглотил с прожорливостью зверя.

Никогда не забуду я гордого выражения его лица, когда он покоился между четырьмя восковыми свечами. В день его погребения в доме была глубокая тишина.

Мой толстый нос напоминал дедушкин. По-видимому, толстые носы были особенностью нашего рода. Однако у моего отца лицо было худое, и нос ничем не выделялся. Это было лицо приказного с холодными и вдумчивыми глазами. За всю свою жизнь он убил только раз. Случилось это во время охоты с дедом. Какое-то животное, подстреленное отцом, упало как подкошенное. С тех пор он уже больше никогда не брал в руки ружья.

Мой дед оставил мне одно ружье – уточницу для стрельбы по уткам и два карабина. Притронуться к ним я никогда не чувствовал желания. Бурная и алая кровь сильных поколений превратилась во мне в тусклый спокойный ручеек с однообразным течением. Если бы не уклонение от природы, которое во мне сказалось, я бы наследовал от отца его любовь к правильным и кропотливым занятиям. Отец мой говорил мало, одевался во все черное и выходил обычно из дому только по ночам. Он был важен, робок и замкнут в себе.

Дважды в месяц он посещал могилу моей матери. Я был очень удивлен, когда узнал, что до конца жизни отец был исправным посетителем дома с закрытыми ставнями. А вместе с тем вся его жизнь была образцом порядочности и благопристойности.

Я наследовал от него его мелочный ум и тяготение к убогой будничной обстановке. Сам он распутничал с осторожностью и относился с открытой нетерпимостью к разврату других. В юности мать оберегала его ревниво и нежно от всего дурного, и его юные годы протекли в тепловатой, как парное молоко, атмосфере девичьей. Когда ему было два года, его все еще одевали в распашонки, в девочкины платяца, не указывающие на определенный пол.

Дед тогда уже жил уединенной и вольной жизнью среди леса. Только когда умерла бабушка, ему вспомнилось, что у него был сын.

В небольшом провинциальном городке, где мне пришлось бы скрываться, как от других, так и от самого себя, я поступил бы так же, как мой отец; я бы также по ночам ускользал из дому в пальто с поднятым до самых ушей воротником в дом с вечно закрытыми ставнями. Но я предпочел большой город, и потому мне не было надобности поднимать воротника до самых ушей.

Однако я все же не могу сказать, что внимал велениям природы. Человеком моего поколения был скорее дед – тот самый старик, что под осень разведывал, на какой лесной опушке лежала человеческая дичь, которой можно было поживиться. Несомненно, он продолжал род хищников, гонящихся за свежей добычей. Но все мои предки ходили с высоко поднятой головой по открытой равнине – а я хоронился под заборами и следил со скрытым жадным вождением за бегством жертвы, которую они преследовали с жадностью животных. Женщина вселилась в меня однажды и никогда уже больше не покидала меня. И стал я одержимым тоской по ее волнующей любви.

Когда еще моя сестра жила с нами, к нам приходили ее сверстницы, почти барышни. Им всегда бывало любопытно повидать брата подруги. В этом скрывалось смутное влечение полов, когда впервые маленький будущий мужчина и будущая женщина научаются узнавать друг друга. С одной стороны как будто устанавливаются братские отношения, с другой же – привязанность основывается на зарождающемся чувстве друг к другу.

Я безумно был влюблен в высокую девушку, которую только и видел сквозь замочную щелку. Иногда обе, Эллен и она, принимались искать меня по всему дому. Я бросался по лестнице на чердак.

Один раз они поднялись туда, а я спрятался в корзине для белья. Потом сошел на цыпочках вниз и, добравшись до двери, припал глазом к отверстию в замке: я бы умер, если бы вдруг открылась дверь.

Высокая Дина, наконец, вышла из комнаты, и я долго, долго целовал стул, на котором она сидела.

Она тоже вышла замуж немного позже, чем Эллен.

Нас обучали самым строгим правилам пристойности и благоприличия. Я никогда не мог узнать, как была устроена грудь моей сестры. Ее комната была удалена от моей. Комната отца тоже отделялась от моей дверью, и дверь эта никогда не закрывалась. Одеваясь, он задерживал ширмы. И никогда не мог я узнать, любил ли он меня.

Он тщательно следил за исполнением мною религиозных обязанностей. Целовал меня редко. И, казалось, был особенно озабочен тем, чтобы сделать из меня молодого, корректного человека, огражденного вполне от всяких греховных искушений.

Об этом он часто упоминал в разговорах. Об этом я часто слышал и от священника, который исповедовал меня каждый месяц. Я не знал ничего, кроме того, что был грех, и боялся я его на каждом шагу, при всяком искреннем, непроизвольном движении моей детской души.

Так учили меня противиться природе – а она только сильнее пробуждалась во мне. Двенадцати лет я увидел мою наготу, и она явилась для меня причиной тайного удовольствия. Случалось, что мой отец, услышав ночью мои вздохи, входил ко мне и приближался к моей постели.

Я приучался к мысли, что надо обуздывать свою радость и порывы, не возвышать голоса, вообще подавлять всякие проявления внутреннего существа.

Однажды Эллен был сделан выговор за то, что слишком нежно ласкала меня. В этот день я бессознательно плакал горькими слезами, как будто мне была нанесена глубочайшая рана, грубо оборвавшая связывавшие нас нити – плакал над той постыдной подкладкой наших братских отношений, которая нас делала чужими.

И с тех пор при приближении Эллен я чувствовал одну только глухую и необъяснимую тоску. Я прятался от нее, как от отца.

Но спустя несколько дней после разыгравшегося события, как-то вечером, отец захватил меня в то время, когда я стоял за дверью и разглядывал прекрасную Дину. Он взял меня за руку, втащил по лестнице наверх и запер в комнату. Больше я уже не видал высокой девушки... И как раз с этого момента я полюбил ее безумно.

Мой отец был, таким образом, одной из причин моих страданий.

Пока я находился с ним, я жил замкнутой одинокой жизнью в доме и саду. Не было на стенах ни одной картинки, ни одного приятного, ласкающего изображения, которое могло бы вызывать чувство прекрасного. И даже библиотека оказывалась для меня запретной.

Об органах жизни говорили всегда лишь недомолвками. Быть человеком казалось постыдным. Может быть, любовь для моего отца являлась унижительной слабостью, и потому он посещал дом с закрытыми ставнями.

Я узнавал о гармонии жизни и о красоте моего тела только сквозь мучительное чувство их безобразия и греховности, за что они и были осуждены Богом и людьми. Уже поздно, слишком поздно было полюбить их без мысли о грехе.

И рос я печальным ребенком, думая, что за малейшее прикосновение к своему телу я буду обречен на муку вечную.

Этого чувства я никогда не мог изгнать бесследно. В глубине моей души всегда таился стыд пред наготой всякого существа и пред обозначением, которое носила эта нагота у мужчины и у женщины. Сам я не видел в этом ничего мерзкого. Только, когда я начинал размышлять, припоминая безмолвное омерзение, с которым внушалось мне избегать понимания известных частей моего существа, они казались мне моим живым укором.

Все это было скорее прекрасно, а мне приказывали презирать. Природа наделила меня этими органами лишь затем, чтобы я их ненавидел. Они были как бы заблуждением и недочетом творенья. Они представляли собой как бы увековеченное, живое угрызение совести Бога

и, когда позднее я узнал, что в них сосредоточивается тайна жизни, как в чудесном горниле рода человеческого, я возмутился. Но краска стыда уже не покидала меня.

Но тогда я не знал еще божественной тайны жизни. Знал я только, что познавая мое тело, я испытывал смутное наслаждение, острое и странное, похожее на ощущение, когда вкушаешь от незрелого плода.

Мое тело стремилось к жизни, и жизнь помимо моей воли влияла на нервы. Оно жило самостоятельной, глубокой жизнью сквозь течение колебательных волн, как звук и свет – как отражение моих переживаний по ту сторону сознательного существа.

Я смутно чувствовал, как пронизывал меня какой-то магнетический ток, тот самый закон притяжения и колебаний, управляющий механизмом мира.

Ребенок инстинктивно стремится испытать самого себя. К этому его влечет так же естественно, как к еде и питью. Деятельность его клеток, свободная игра сил приводит его в соприкосновение с его членами. И единственное восприятие Бесконечного, которое дано людям познать в любовных спазмах, – содержится уже в том коротком миге, когда, благодаря пробуждению полового чувства, человек выносится за грани жизни и погружается в ощущение вечности.

А надменное непонимание воспитателей продолжает именовать постыдным пороком бессознательную муку обрести себя в первом акте самопознания.

Но настанет пора, когда, напротив, пробуждение чувств будет использовано наставниками ради всестороннего развития человеческого существа, когда будут учить почитать все органы человеческого тела и те цели, для которых они предназначены и благодаря которым приспособлены к мировой эволюции. И эти учителя истинной жизни, эти жрецы тайных божественных замыслов, не привьют ребенку смешной и нелепой стыдливости – а заменят ее идеей культа природы, религией человека, как существа физического, с ее обрядами, которые не должны никогда нарушаться.

Но разве не все надлежит переделать в обществе, которое изгнало благоговение перед красотой и в основу отношений между мужчиной и женщиной положило свой страх перед скрытыми органами тела?

Половое безумие, возмущение инстинкта, подавляемого в его произвольных проявлениях – вот болезнь человечества, заразившая корни самой жизни.

Страдают все, и, однако, кто из вас, читая эти строки и втайне согласившись со мной, не будет негодовать перед всеми, что какой-то человек посмел занести руку на святой ковчег общепризнанной стыдливости.

Глава 2

Я поступил в коллеж и почти тотчас же стал очевидцем такого варварского зрелища. Один из воспитанников, пойманный в нужном месте, был приведен в класс со связанными руками – а руки эти совершали не больше того, что совершали сами воспитатели, когда были детьми. Пытка тянулась все послеполуденное время, и сами мы, совершавшие сотни раз тот же проступок, с шиканьем и гоготаньем предались низкому истязанию того, который не воспротивился соблазну и за то был выставлен перед нами, как позорный преступник. Он сделал лишь одну ошибку – позволил себя накрыть на месте.

И вот даже до сегодняшнего дня не могу встретить этого старого товарища, чтобы та сцена не всплыла у меня в голове, и я не испытывал к нему, несмотря на его зрелый возраст, непобедимого чувства отвращения за его падение. И кажется, это дикое осуждение так и тяготеет над всей остальной его жизнью: он так и не мог выбраться на дорогу сквозь чашу общественной жизни. Я узнал, что он кое-как прозябает в очень плачевных условиях.

А превосходнейший отец-наставник думал только дать назидательный пример, ибо в классе свирепствовало распутство. Случилось, что зараза, вопреки его ожиданию, захватила лучших воспитанников: составлялись целые кружки, и сам я тоже к ним примкнул.

Коллеж посвятил меня в тайны пола. Все, что я должен был бы узнать осторожно и постепенно от наставников, я познал в общении с моими циничными и похотливыми товарищами.

У большинства из них были сестры, с которыми и проделывались первые любовные опыты. Я смею утверждать на основании многочисленных признаний, что большая часть юных девушек вступает в брак, наполовину изведав с братьями половую любовь. И это – еще одно последствие отчужденности полов, ибо чем насильственнее их разъединяют, тем сильнее они ищут друг друга, и тем сильнее возбуждается половое чувство.

Эти скороспелые самцы не имели, разумеется, представления обо всей области половой жизни, занимались наугад случайными опытами. Половое бешенство юнцов напоминает собою разве только старческое распутство.

Товарищи разоблачили предо мною формы женского тела, и я узнал его священную тайну. И в меня вселились одержимость и страх. Я тайно проливал слезы о том, что и Дина устроена не иначе, чем все, о которых мне рассказывали товарищи.

Женщина смутно рисовалась мне, как баснословный символ пагубной плотской любви, и я знал Цирцею пока лишь сквозь покров темной религиозной легенды. И этот смутный, томительный страх находил себе пищу в моем юном, религиозном рвении. Я не мог думать о седьмой заповеди, чтобы мою душу не охватывали страх и вождление.

Завеса, скрывавшая тайну пола, разодралась, и я был подавлен. Меня влекла и отталкивала эта тайна, как уродливая форма существа, не имеющего сходства с собственным моим телом.

Никто из моих товарищей не был воспитан на той мысли, что оба пола являются дополнением друг друга и созданы непохожими только ради осуществления акта Красоты и Гармонии в слиянии обоих в одно единство.

Сам я до этих пор жил в полном неведении этой противоположности, которая разрешается в полном восторге единении.

Воспитанникам нравилось грязнить нежный цветок любви отвратительными сравнениями, пошлыми описаниями таинственной красоты, для которой любовь есть лотос жизни, священная чаша человечества.

Но и я в свою очередь смотрел на любовь, как на ошибку природы, как на символ безобразия греха.

Все первоначальное воспитание в семье построено на этом отвращении к наиболее ценному и прекрасному органу, и, думается мне, все преждевременно начавшие половую жизнь юноши испытывают то же самое чувство.

Мне пришлось видеть юных девушек, непорочную наготу которых грубо выставляли напоказ и приносили в жертву, благодаря их неведению и неопытности. Только впоследствии я понял причину этого кощунственного преступления. В то же время я узнал насколько прочно сидят в нас наши предки. Их кровь вызывает в нас жажду насилия и хищничества, как во времена варварства, когда женщина была бессознательной рабыней инстинктов самца.

И тогда я ясно понял, какой огонь сжигал моего деда, когда он подкарауливал на лестницах горничных.

Глава 3

Во время отпуска в пятый год моего ученья случилось одно событие.

Отец отправил меня под охраной садовника на месяц в нашу лесную дачу. Во всей даче находился лишь один я. Садовник с семьей занимал одну из служб. Иногда по целым дням мы не видели никого.

Однажды утром, когда моросило, я отправился к реке. Она находилась на другом краю леса.

Некоторое время шел я под высокими деревьями. Пахло молодой корой и влажным сероцветом. Птицы нехотя перекликались, перелетали с веток, копошились в густоте листвы.

В конце дороги я, наконец, увидел сероватый цвет воды. Широкой полосой, которую рябили дождевые капли, река спускалась к равнине и селению между рядами лиловой ивы под пасмурным и больным небом, беспомощно свисавшим над землей.

Я растянулся под ивами, ведь я сам был болен недугом лета! Сколько времени уже не видел я дружеского лица. Хотелось, чтобы кто-нибудь был рядом. Не знаю, о чем бы я стал тогда говорить, – может быть, ни о чем, – но было бы так приятно, так хорошо, если бы кто-нибудь был рядом, чтобы дышать вместе свежими испарениями земли.

И в то время, как я грустно глядел на другой берег, вдруг высокий старик поднялся с земли, и я узнал в нем моего деда.

Он стал косить траву широкими исполинскими размахами, напоминая буйвола. Потом нагнулся, срезал ножиком тростинку и сделал свирель.

Ветер слегка оведал цветущую иву. Но ведь дед, подумал я, давно уже умер. Оказалось, что на другом берегу, какой-то крестьянин, досадливо махнув рукой, стал удаляться с поля.

Меня охватила грусть: этот дедушка так часто в детстве развлекал меня своей свирелью – его руки ласкали меня с такой сердечной, нежной теплотой. И женщины, раз попавши к старику, понимали, что им от него не уйти, и оставались с ним, очарованные, как пением птицы.

О любовных похождениях чудака-старика рассказывали мне наши горничные.

С такими мыслями я подошел к повороту реки.

На обширной зеленой равнине в этом месте возвышалась небольшая рощица.

Сквозь деревья виднелись две коровы, пощипывавшие траву, но никто как будто не сторожил их. А вместе с тем кто-то под листвой тихонько плакал. Подумалось мне, что это журчал ручеек, вырываясь из земли. Приблизившись, я увидел длинную худую девушку, лежавшую на животе, уткнувшись головой в ладони. У нее были бледные серебристые волосы, и голые ноги выдавались из-под слишком короткой юбки. Сперва увидел я только ее волосы и ноги, но, когда проходил мимо нее, она приподнялась на локтях и взглянула на меня глазами злого зверька.

– А-а-а, вот, вот, – вскричала она, – он опять поколотил меня!..

Я не знал, что она говорила о старике, крестьянине, который шел по равнине. Она снова упала на мокрую траву и стала раздраженно бить кулаками по земле. Я старался подыскать слова утешения, и она, наконец, перестала плакать и принялась недоверчиво разглядывать меня сквозь светлые пряди волос.

– Я узнаю тебя, ты хозяйский сын, – я тебя тоже ненавижу.

– Но ведь я тебе не сделал никакого зла.

Ко мне снова вернулась способность речи. Я взглянул на нее решительным взглядом. Мне казалось, что я ее ненавижу тоже.

Так глядели мы друг на друга. Нет, эта девочка не была красива. Ее острые и холодные глаза вызывающе взглядывали на меня. Никогда не приходилось видеть мне более дикое выражение хитрости и злобы. Она принялась под конец подбирать камни и швырять их пред собой.

– И все из-за твоего дедушки, – промолвила она вдруг. – Меня зовут Ализой.

При этом взглянула на меня уже не так злобно. Я тоже больше не злился. Она снова улеглась на живот, как раньше, когда я ее заметил, прижалась худой грудью к сырой траве и стала болтать ногами. Ноги у нее были худые и смуглые, цветом старого самшита.

Эта девушка не знала стыдливости. Я стал жадно выведывать беспокойными глазами ее намерения.

– Ты хочешь сказать, что дед...

– Да, ведь это всем на деревне известно. Заглядывал он иногда к нам, давал немножко денег, сажал меня к себе на колени и, смеясь, называл своей милой дочкой. У него были такие нежные руки. И вот один раз взял да умер. Матушка моя плакала по нему и сказала мне: «Вот он был старый, а уж такой забавник. Я его крепко любила. Теперь его уже нет больше, и ты можешь убираться на все четыре стороны». С этих пор мой новый отец всегда бьет меня.

Я уже теперь не так любил деда. Но мне не нравилось, чтобы кто-нибудь злословил на человека, который в детстве дарил мне самодельные дудки. Наступило неловкое молчание.

Она стала скликать коров и ругалась, как мальчишка. Потом повернулась, присела на коленках и, заплетая белокурые волосы в косы, спокойно промолвила:

– В тебе и во мне течет одна кровь, а ты гораздо красивее меня.

Я готов был обругать ее... Ведь я был сыном богатого и всегда носил чистый костюм. Я никак не мог согласиться, чтобы было нечто общее между этой грязной пастушкой и мной. Она заметила, что я разозлился и сказала мне покорно:

– Я совсем не хотела тебя обидеть.

Она указала мне под деревьями небольшое возвышение из мха, едва окропленное дождем.

– Тебе было бы там лучше.

Мы сели рядом. Я уже больше не злился. Она принялась одергивать слегка свою юбку, чтобы прикрыть голые ноги, как будто стыд вернулся к ней.

– Это твои коровы? – спросил я ее.

– Да, – вот та чернушка дает нам три ведра молока. Ну, а уж краснушке похвастаться нечем.

Она положила свою руку на мое колено, и странная теплота разнежила меня. Я подумал: «Надо и мне положить руку на ее колени». Она схватила руками мои волосы и стала играть их кудрями, как ребенок.

– У Троля были такие же пушистые волосы, как у тебя, – странно сказала она.

Я не знал, кто был Троль. Она глядела на меня, очарованная, ясным взглядом. Это случилось в первый раз. Я еще не знал тела девушки. Ее кожа горела, как лето, касаясь моей.

Губы мои были скованы льдом – я не находил, что сказать ей. По временам она начинала снова теревить свою юбку, прикрывая ноги. И вдруг ее голос переменялся, она начала прижиматься к моему плечу и обдавала меня разгоряченным дыханием:

– Ах, мне было бы все равно, если бы меня бил мой возлюбленный.

Тогда я подумал, что она, несомненно, уже обнималась с мальчишками. И почувствовал себя очень несчастным, не зная почему, и вместе с тем таким счастливым.

Я пристально глядел на ее голые, загоревшие от солнца ноги. А она беззвучно смеялась мне в ухо и ничего не говорила.

Грубая холстинная рубашка напрягалась под ее упругой грудью. Эта девушка жила непосредственной жизнью природы. Великий поток могучей животной жизни расширял ее ноздри.

Простые люди гораздо ближе к природе.

Уста ее приблизились к моим, ее смех щекотал мою щеку. Внезапно на меня напал такой страх, что я бросился на нее с криком. Однако я не испытывал злобы, скорее хотелось плакать. Маленький свирепый и неуклюжий самец, новый человек с объятиями любви и ненависти пробудился во мне сквозь это смутное волнение. Под моими кулаками она смеялась едким смехом,

закрыв глаза, прерывисто дыша, охваченная напряжением страсти. Пальцы мои пронизывало острое наслаждение: руки беспомощно ослабели – я не заметил, как ласкал ее маленькую грудь.

Вдруг она вскрикнула и, впившись губами в мои губы, стала бешено кусать мой рот. Я чувствовал себя бессильным, словно жизнь уходила из меня. И с диким, раненым хохотом она каталась по траве, а я совсем не знал, какое зло ей причинил.

– Милая Ализа...

В моем голосе звучали лукавые ноты искусителя. Но она спряталась за деревья и издали крикнула мне:

– Убирайся! Я ненавижу тебя, как и других.

Я почувствовал ужасный стыд и, посвистывая сквозь зубы, направился под моросившим дождем, вдоль цветущих ив.

И думал: «Вот ты оказался подлецом, и она тебя презирает». Я удалился от реки и, придя к себе, плакал бешеным плачем.

Глава 4

В тот день я не ходил больше к реке. Кровь моя горела, всю ночь я вертелся в постели, призывая Ализу. На следующий день я снова пошел в лес. Решил сделать то же, что сделал бы мой товарищ – коренастый Ромэн. Для меня это было делом совести. Я хотел при первом же с ним свидании рассказать ему мою историю. Яркое солнце озаряло ветви снопом света, кидавшего на дорогу трепещущие золотые пятна. Я вместе с птицами пел песни, чтобы придать себе больше уверенности. На своих пальцах я все еще ощущал ее упругую грудь, как будто все еще держал эту девушку в своих объятиях.

Но это не было любовью. Мне казалось только, что ее тело было предназначено для меня. В этом таилось смутное чувство господина, властителя, которое, быть может, было знакомо и деду, обладавшему всеми женщинами окрестностей. Эти женщины как бы составляли часть его угодьев, на которые простиралось его право сеньора.

Выйдя из леса, я увидел синевшую в утреннем тумане реку. Как и накануне, я лег под ивами. Но почти в тот же миг воля меня покинула. Мне хотелось, чтобы на поляне не было Ализы. Подошел я к рожице – коров не было, не было там и ее.

Тогда я окликнул ее через поляну громко и ясно. Уверенность ко мне вернулась. Но Ализа не являлась. Никогда не испытал я такой муки. Даже известие о смерти родной сестры – причинило бы мне меньше горя, чем ее отсутствие. Я пошел в сторону селенья. Справлялся об Ализе. Надо мной вежливо посмеивались. Люди, вероятно, говорили между собой о нашем родстве. А я не переставал думать с жадной об ее маленькой груди.

И на другой день тоже ярко светило солнце. Когда я шел по лесу, глаза мои сверкали, как у героя. Мятужным волнением жизни обдавало мое сердце. Я спустился к реке. Я уже знал теперь, как овладеть девушкой. Обе коровы паслись около рожи. Я решил впиться в губы Ализы зубами. Но напрасно искал я ту, которая стерегла их. «Эта хитрая девчонка, – сказал я себе, – нарочно прячется, чтобы быть более желанной. Когда она придет, я прежде лукаво улыбнусь ей, а потом притащу за волосы к мшистому ложу». И окликал ее по имени, ища глазами по равнине...

Но она не показывалась, и я с гневом бросился между ивами к берегу реки. И вдруг увидел я ее открытый рот под водной гладью у самого края реки. Да, ее губы, сжимавшие мои уста, виднелись там, как бледные лепестки цветка, как поблекшая лилия. Слегка рябившая вода придавала ее устам сверхъестественный трепет жизни. Я не испытывал ни муки, ни страха, жгучий чувственный жар еще не покинул меня. Я потянул ее за серебристые пряди волос и приволок на мшистый откос. Я не боялся больше ее злого смеха. Сильно схватил рукой за ее юбку. Делал я только то, что сделали бы все на моем месте.

Но в это мгновение великой жалостью наполнилось мое сердце, я закрыл ей ноги лохмотьями убогого рубища. И она, едва раскрывшая предо мной свою наготу, теперь была вся заткана стыдливостью.

И глядел я на нее, дрожа всем телом. Не помнил, что между нами что-то произошло. Из рта ее выплеснулась вода, как будто слюна, которой она раньше смочила мои губы. Я вытер воду платком и обнял Ализу. Безумно целовал ее щеки и волосы, не переставая звать ее, как будто не была она мертвой. Лицо ее вдруг скорчилось ужасной гримасой. Теперь походила она на Деда, когда он лежал на белой простыне после обряда, между теплившимися свечами. Я опустил ее на траву. Больше не ласкал уже я ее маленькой груди. Скорее чувствовал в себе притупленность и досаду.

Коровы, почуяв шаги по поляне, замычали. Я побежал, чтобы спрятаться в лес. Пришли люди, взяли ее просто на руки и унесли, погоняя перед собою коров.

Пришел я домой к вечеру. Голоден я не был. Я чувствовал в себе такую сладкую муку. И думал: «По крайней мере, уже никто не прикоснется, как я, к ее коленям. Быть может, только Троль». Но его я не знал – он приходил к ней раньше. Я не чувствовал любви к ней, а все же какое-то утешение было во мне, словно она с верностью хранила для меня свою любовь.

Поднялся к себе в комнату. Долго стоял у окна, глядя в ночь, в сторону реки, которая вилась за лесом. Я не видел реки, только темную массу деревьев на равнине. От прозрачных теней веяло прохладой. Кузнечики стрекотали в уснувшей траве. Дохнуло легким ветерком, который нежно приласкал меня, как ласкали ее смуглые руки.

Из глаз моих хлынули слезы. Я протянул руки сквозь ночную мглу туда, к реке. И нежно с рыданием промолвил: «Милая маленькая Ализа, зачем ты покинула меня, не отдав мне своей любви?» Ее ужасная гримаса сгладилась, и мертвой она казалась мне более прекрасной. Я почувствовал впервые настоящую любовь.

Звонили колокола на следующее утро. Жена садовника сказала мне, что на берегу реки нашли утопленницу, деревенскую девушку. Садовника жена не глядела на меня. Казалось, стыдилась. И садовник глядел через окошко. Понял я, что их смущало происхождение девушки и грех моего Деда.

В конце концов, ведь это дитя было мне родным по крови. В жилах у нас была одна жизнь.

Я не в силах был больше выносить их голоса и убежал в лес. Колокола не звонили уже. Я понял, что она лежала теперь, озаренная свечами, в одном из домиков селенья. И я бросился в мох, бился, колотил кулаками землю. Хотелось мне лежать с ней рядом в одной постели с закрытыми на век глазами.

Это безумие изнуряло меня. Я не мог больше есть, не мог спать. Как бледная тень блуждал я с утра до вечера вдоль реки. Отец заехал за мной и увез.

Только в городе я стал немного забывать Ализу. Не думал я теперь больше и о высокой Дине.

Страстная влюбленная душа, какая неутолимая жажда покоя привела тебя в объятия вод? Искала ли ты в них забвенья жизни, обновленья своего бедного избитого тела, просившего только любви? Вспомнился ли тебе образ хрупкого, ничего не знавшего еще ребенка, так плохо ответившего на твое юное желание, когда ты прыгнула с берега? Никогда никто не мог мне сказать – почему утопилась Ализа.

Быть может, могучие соки лета терзали ее дикую кровь, а Троль не вернулся.

Глава 5

И в коллеже носил я в себе ощущение какой-то раны, мучительное воспоминание о пробуждении моих чувств возле того горячего тела, которое раскрыло во мне источники жизни.

Еще раз Ромэн проявил весь свой цинизм. Он стал подтрунивать над моей трусливостью, ибо я рассказал ему эту странную историю. Он подверг сомнению мою половую зрелость. О своей сестре теперь он больше не говорил. Даже запретил, чтобы при нем упоминали о ней.

Он знал дом, где девушки обнажались и предлагали себя за плату. Заходил он туда уже три раза. Выпивали целой компанией. Развлекался он тем, что принимался колотить одну из этих девушек после проведенной с ней ночи. Правда, и я бил Ализу, – но только не по той же причине.

У этого молодого резвого жеребца сладость побоев возбуждала половое чувство тела. Он был коренастый и сильный. Любовь для него была только необходимой тратой физической энергии. По окончании коллежа я перестал с ним видеться. Однако было бы странно, если бы он, утолив свою страсть, не сделался впоследствии таким же примерным мужем, как и другие. Его безнравственность была искренним увлечением, в ней говорила сама природа, одаряющая самцов, – как у людей, так и у животных, – неиссякаемым источником желания. А во мне жалкие моральные инстинкты, наоборот, соединялись с разъедающим и болезненным возбуждением. Как будто в моих порывах и неуклюжей стыдливости воплощались оба пола: я был и женщиной – со страстной пылкостью мужчины – и в то же время мужчиной – с робкой и пламенной чувствительностью женщины.

В глазах же нашего класса Ромэн стоял на недосыгаемой высоте. Так как он первый совершил таинство познания женщины, то за ним и упрочилось звание нашего общего наставника.

Он развратил поголовно всех, весь класс находился под навязчивым представлением дома с занавесками, и все наперерыв строили предположения о том, как совершается половой обряд. То один, то другой рассказывали нам с блеском в глазах о том, что пришлось им там увидеть.

В противоположность остальным я испытывал одно только внутреннее страдание каждый раз, когда они обнажали предо мной любовь. Было мне так тяжело чувствовать себя трепещущим и обнаженным с раздувающимися ноздрями перед целой толпой. А ведь губы мои испытали девичий поцелуй. Руки мои ощущали округлость живота Ализы. Это было такое страдание, которого я не сумею объяснить.

Страх леденил меня при мысли о женских формах. Во мне поднимался странный и смешной страх животного, жившего во мне особой жизнью, лукавой и тайной под оболочкой одежд. Мне думалось, что я умру в тот день, когда отправлюсь, как другие, в дом с занавесками. И это страдание проистекало как раз из необъяснимых порывов желания, скрытого в тайниках моего существа. Я не мог больше думать об Ализе, ни о какой другой женщине, чтобы тотчас же не всплывало предо мной в ярких красках то ужасное, чем отличалась она от меня. Мучительно пламенели мои щеки, как только произносили при мне имя женщины.

Случилось так, что мой отец разрешил мне во время пасхальных каникул провести два дня в семействе одного из моих товарищей.

Однажды во время обеда я сидел рядом с красивой и смелой девушкой. Для меня это было пыткой. Я не мог оторвать глаз от ее рук, пухлых и нервных, с короткими, розоватыми ногтями. И от всего этого молодого существа веяло жизнью и грацией! Быть может, и она была не так невинна, как казалось, подобно другим, подобно мне самому. Если бы ее колени встретились с моими под столом, – то, кажется, я тот же миг лишился бы сознания... Но я не находил ничего ей сказать. Таким образом, у нее имелся предлог посмеяться надо мной. Как только кончился обед я скрылся из дома, блуждал по саду, и рыдания душили меня.

Эту девушку я также любил до потери сознания.

Я не боюсь показаться смешным. Пишу я мои признания. И исповедь моя не станет бесполезной, если покажет воочию, что наше ложное воспитание с его проповедью неведения самих себя и извращением наших непреодолимых влечений приводит к самым пагубным извращениям.

Конец отпуска я провел у отца. Обе горничные, которых он оставил, были старые и некрасивые. Я знал, что одна из них каждую субботу мылась под душем в ванной. Я все устроил так, чтобы захватить ее во время обливания. Что произойдет потом, об этом я не думал. Но она услышала мои шаги и заперлась на ключ. И в то же мгновение крикнула с грубой простотой крестьянки:

– Не входи, барчук, я уже спустила рубашку.

И вот ночью я принялся бродить по коридорам возле мансарды. Двери не были закрыты. Перед этими двумя женщинами я чувствовал себя решительным и смелым, как господин перед рабом, как барин перед челядинцем, черной костью, низшим подвластным созданием.

Ко всем другим я охладел. В своем безумстве я любил лишь эти грузные, безобразные тела.

Я увидел их целомудренный сон, усталый и грустный покой выносливых животных. Они обе спали, как дети, натянув до груди одеяла, невинным и трогательным сном.

И запоздавший, спасительный стыд пробудился во мне.

Глава 6

Один за другим воспитанники моего класса начали посещать дом с занавесками. Сам Ромэн, по праву наставника, водил их туда и присутствовал при посвящении новичка. Его прельщала роль руководителя, и он удовлетворял свое честолюбие, санкционируя их половую зрелость, и они в свою очередь, вслед за посвящением, казалось, выросли в собственном мнении. Движения их становились увереннее, и голос переменялся. Я заметил, что все они, как до них сам Ромэн, переставали говорить о своих сестрах. Познание любви как будто пробуждало в них братнее чувство.

Как бы уродливо ни обнаружилась перед ними тайна, они все же смутно чувствовали ее священный смысл, религиозный характер этого жертвоприношения на алтарь жизни.

Эти юноши, опьяненные своею зрелостью, кипучей обновленной кровью, были подобны тем варварам, которые вступали в храмы, чтобы осквернить древних богов, и, пораженные, смолкали перед их строгими, величавыми изображениями. И они теперь стыдились своих любовных опытов с непорочными девушками.

Оттенок пренебрежительности к целомудренности этих невинных, как ягнята, девушек сквозил в их отношениях к ним. Они бессознательно предпочитали, как новички, этих зрелых и опытных куртизанок.

И произошло со мною то же, что и со всеми, когда я оканчивал коллеж.

Из-за града насмешек товарищей я начал обвинять себя самого в малодушии. Ведь если Ромэн сделал это и все другие за ним тоже, – почему же ты не можешь сделать это в свой черед, – или, может быть, ты слишком немощен, чтобы походить на всех остальных людей. А в обыкновенных обстоятельствах жизни я не был, однако, лишен смелости и решительности. Однажды из-за небольшой ссоры я подрался на циркулях с товарищем, который был больше и сильнее меня. Произошли три схватки. Из наших ран сочилась кровь, и все же первый отступил он.

Однако при мысли о женском теле я становился бессильным и робким, как ребенок. Товарищи уверили меня, что самый акт совершается быстро и просто. Но тайна этого процесса, церковные запреты и также страх заразиться пугали меня. Другие, по крайней мере, до тайного посещения дома с занавесками прошли уже первоначальную школу и приобрели некоторый опыт, облегчавший им этот тяжелый шаг.

После утомительных споров мое сопротивление было сломлено. Условились, что Ромэн поможет мне, как раньше всем остальным. Обычно после обряда товарищи собирались все вместе и шумно чествовали по примеру древних ритуалов жертву заклания.

Но я просил не разглашать, и Ромэн обещал мне молчать.

Там было пять девушек. Одна из них, очень пухлая с белой холеной кожей, дышавшей свежестью под слоем румян, называлась Ева. Почти постоянно выбирал ее себе Ромэн, и на ней как бы лежала обязанность жрицы этого мальчишеского культа.

Мы с ней вошли в комнату. Она смеялась, и смех ее придавал мне смелости. Я был бледен, нервы мои ужасно напрягались, но в то же время я чувствовал бесконечную надежду на счастье и избавление. Я ждал с содроганием этого момента, как внезапного проявления сил природы. Она осталась в одной рубашке и почти с жадностью прижалась своими губами к моим.

Так же впивалась в мои губы и Ализа.

Всего меня обдало холодом в тот же миг. Казалось, сердце перестало биться, но я не оттолкнул ее. Я лежал у ее груди, как труп.

– Ну что же, дружок... Чего же ты?...

Она обращалась со мною, как нежная мать с ребенком, которому врач вырывает зубы. Она не целовала уже моих губ, только нежно прикасалась ртом к моим щекам, шее, обдавала ласковым дыханием мои глаза и смеялась. Она была как милосердная сестра наслаждения. Со мной произошел припадок. Тело мое пронизала ужасная дрожь. Я зарыдал, и всхлипывание мое затихло среди сдавленных криков.

Я потерял сознание. В момент моей глубокой угнетенности она проявила удивительно искреннее чувство. Она прикоснулась поцелуем к моим ресницам, обхватила меня руками и как ребенка прижала к своей мясистой груди. Шепнула мне:

– Полно, я ведь тебя все-таки люблю, милка. Ничего, это не всем тотчас же нравится...

И это была только проститутка, служанка пошлых наслаждений! Но сколько тайлось в уголке ее сердца трогательной ласки, неподдельной сердечности!

Ее горячие объятия, которыми она согревала меня, ее успокаивающая ласка придали мне бодрости. Я обнял ее, впился губами в ее уста и яростно кусал их.

В эту сверхчеловеческую минуту я испытал словно трепет всего человечества, великий поток бытия.

Сам Геркулес не любил так своей Иолы!

Она теперь сама кричала под моими ласками от наслаждения!

Минуты шли. Не знаю сколько минуло: я потерял ощущение времени.

Но вот с лестницы раздался глухой шум. Дверь распахнулась настежь. Я увидел Ромэна и всю компанию, которая входила к нам, гримасничая и приплясывая. И все кричали: «Дело в шляпе! Ура, ура!»

Руки потянулись к одеялу. Но эта девушка со странным чувством стыдливости из всех сил тянула его к себе, прикрывая и себя и меня до самого подбородка. Я быстро проговорил ей: «Это не моя вина, не подумай... Я опять приду к тебе...» И хотел соскочить с постели в одной рубашке и выгнать всех этих приятелей из комнаты.

Опьяненные грогом, они осаждали нашу постель и закидывали нас подушками. В общем месиве я был как затерянный.

А к этой кукле любовных наслаждений уже вернулось беспечное настроение ее безумной жизни, и она со смехом приняла участие в общей забаве.

Один я мучительно страдал, словно от гнусного осквернения моего обнаженного существа, которое приволокли на казнь, застав за совершением позорного поступка.

Но под конец и я стал бессмысленно смеяться. Как будто и мне стало весело участвовать в этом грубом фарсе. Казалось, в это мгновение и у них и у меня было одно чувство непристойности совершенного жертвоприношения, веселого отречения от чистоты моих девственных чувств, радость гнусного осквернения.

Все прошли через эту смешную церемонию и запивали торжество вином в честь мужества и отваги мужчины. Я не смел им поведать истину, мне было стыдно, что чествуют меня, как победителя, отважного героя или бакалавра.

Ныне, когда я могу спокойно об этом думать, я убежден, что это оскорбление природы, это осмеяние самого нежного, самого трогательного таинства – еще один лишний знак великого заблуждения человечества. Редко решается юноша войти один в тайный храм культа Приапа. Постоянно вводят его туда другие, посвященные, и в свой черед посвящают и его. Вас самих, читающие эти строки, повели туда, когда вас обдавало трепетом созревшего полового чувства, как на ристалище, где обучают проявлениям мужской энергии.

Изначальный и вечный закон непостижимого пробуждает в юноше гордое сознание своего полового значения, с которого и начинается у него истинное вступление в жизнь. И вот что сделало из этого – воспитание, общество, иезуитская, бездушная мораль, мораль стыда, не желавшая признать Бога в чудесной наготе инстинкта. Юноша тайно хоронится в недрах

подозрительных закоулков. Рыщет среди продажных животных, ищет яств у похотливого и публично преданного на истязание тела.

Он ведь только внимает велениям жизни и совершает со стыдом великое и прекрасное деяние.

И поистине оно постыдно, благодаря скрытым извилинам пути, ведущим к нему, благодаря необходимости таиться, как татам, преступникам, осквернителям алтарей.

Все совершают это и, однако, сохраняют в себе тайную краску стыда.

Наконец, наступает пора, когда начинают хором сурово осуждать то, что делают другие, как делали и они. А мораль поучает:

«Иди туда, если тебе нужно, но заметай следы, чтобы никто тебя не видел».

Тот, кто достаточно силен, чтобы не следовать примеру других, почти всегда уступает страху заражения. И эта болезнь была названа позорной по причине позорности органа, по причине позора, который связывается с представлением о поле, так что и сама жизнь и все, что относится к ней, стало разделять этот позор. Но позорна эта болезнь лишь потому, что научились ее скрывать по тем же основаниям, как любовь и все, что касается любви. И любовь, и жизнь одинаково греховны с точки зрения морали. И вот почему после жертвоприношения юношу шумно чествуют согласно ритуалам шутовского торжества в честь бога Пана, не столько за то, что он стал мужчиной, сколько за то, что запятнал себя нечистоплотным соитием.

Человек уступает неодолимой радости разрушать запреты. Совершает он то, что запрещено совершать и, таким образом, проявляет свою свободу. Так утверждает он себя богом.

Вот почему юноша, еще не познавший и которому запрещено познавать, как девственный атлет будущих битв, послушно внимает истинному закону, когда вступает в дом, где познает себя, ибо так совершает он акт свободного человека, и зло не в том, что он туда проникает, а в том, что воспитатели всячески стараются устроить так, чтобы вышел он оттуда с неизбежным презрением и стыдом к своему телу. И вот, когда он уже познал, – любовь навсегда остается оскверненной в его уме.

Великие язычники, боготворившие чистые символы жизни, преклонялись пред своей наготой, как совершенным образом Вселенной. И дом любви воздвигали они рядом с местом гимнастических игр. Но они знали и целомудренных богов.

Но ведь известно: язычество – великая школа безнравственности. Когда ритуалы Азии исказили великие культы первобытной Эллады, – в душах людей уже созрело безумие, и Якхос, Атис-Адонай подготовили почву для аскетизма. Девственность! Утонченное злоторное поклонение идолу девственных недр! Вот где таилось зло, вот где люди навсегда запятнали себя преступлением пред вечным божеством!

Глава 7

Мне было двадцать лет, а я не знал еще любви. Я приблизился к порогу исповедальни, трепещущий, испуганный левит. Я видел Идола в грозной красоте его персей, но месса, жертва моего пылающего сока, была запрещена мне. Ради моего унижения меня хвалили за то, чего не произошло, но доставило мне славу зрелого мужчины, хотя в глубине души каждый из моих дурных товарищей и считал свою мужественность погибшей. Этим объяснялось их упорное стремление втолкнуть меня в этот дом. Теперь я уподобился им. Нас связывала общность падения, сблизил один и тот же грех. И только один я знал, что не согрешил, и тем сильнее презирал себя.

По окончании училища мы рассеялись в разные стороны. Казалось, все товарищи мои заплатили мне свою дань, и впредь я мог уже без их помощи вступить в жизнь.

С Ромэном я больше не видался. Он был богат и отправился объезжать своих рысистых лошадей в отдаленное поместье отца.

Я же вернулся под кровлю моих первых детских лет. С грустным изумлением пришлось мне узнать, что наша лесная дача продана. Надо полагать, мой отец, узнав о смерти Ализы и подозревая, что крестьянин начнет вымогать с него деньги, хотел таким приемом освободиться от всяких неприятных хлопот.

Никогда не думал я столько об этой дикой девушке.

Мне было как-то грустно идти к ивам у реки.

Ее маленькая бледная тень блуждала здесь печально, не в силах развеять своей тоски. Она подавала мне знаки следовать за ней, приложив палец к губам. Но лицо ее мне не припомнилось. Она стояла вдали, как легкий призрак среди молчаливой природы. Мне казалась она более живой в этой воздушной таинственности, чем тогда в моих объятиях.

Теперь она жила вечной жизнью, как вода и листва. Я не знал – любил ли ее. Она оведала мои грезы, как легкий летний ветерок, и как воздушная мелодия флейты промелькнула она среди ветвей.

Еще много дней спустя слышались эти звуки, и от грусти мне хотелось плакать. Слезы подступали мне к горлу, я горько звал ее. Она казалась мне теперь более очаровательной, потому что была лишь безумной игрой моего воображения.

В себе самом я ощущал с тоской живую рану, нанесенную моей непорочности. Чувствуя на улице легкое прикосновение женского тела, я не мог уже отделаться от навязчивых мучительных наслаждений. Ни одна женщина как будто не обращала внимания на такого хилого и застенчивого прохожего, каким был я. Только одни мои волосы были всегда шелковистыми и кудрявыми и так нравились Ализе, потому что были пушисты, как у Троля.

Но я не приковывал к себе ничьего внимания. Все женщины, напротив, с поощряющими улыбками обращались на Ромэна. Может быть, потому, что более целомудренные чувствуют влечение к царственным натурам, к насильственным и стремительным характерам. Чудный дар чутья, тайной обаятельной покорности предупреждает их о присутствии завоевателя.

А что было у меня? – Стыдливая краска неповоротливого, пугливого юноши? Мой мягкий женственный темперамент противоречил моим сильным и бурным влечениям. Меня снедала мучительная тоскливая мысль, что хоть я и мужчина, но лишен возможности изведать наслаждения.

Во время отсутствия моего отца я однажды забрался в библиотеку. Доступ к ней мне всегда был закрыт, как будто в своей узкой дальновидности отец мой боялся за влияние некоторых книг на мою легко возбудимую впечатлительность. Он, вероятно, выказал бы не менее предупредительности в отношении лаборатории ядовитых веществ или погреба крепких напитков. И поэтому ключ от библиотеки всегда носил при себе.

В школе я совсем не читал романов. Святые отцы, добросовестные соглядатаи, упражнялись в тщательном надзоре за этой подозрительной литературой.

У отца оказался отдельный том «Любовных приключений кавалера Фобла». Роясь в книгах, я нашел завалившуюся за полку папку с картинами. И ужаснулся прелести греха, который раскрылся пред моими взорами.

Никогда впоследствии я не мог восстановить в своей памяти того жгучего и бурного волнения, которое охватило меня при взгляде на эти отвратительные картины, изображавшие кучи дьявольски сплетенных тел, подобных виноградным лозам.

Я испытывал неистовое величайшее иступление. Ноздри мои напряглись до состояния оргазма. Душа затвердела, как кусок металла под ударами молота. Показалось мне, как будто чьи-то убийственные, нежные руки выворачивали мои внутренности.

Пламенные и пышные, мясистые тела, тяжелые кучи стиснутых грудей сдавливали мне горло от алчных желаний и заглушали крики. Все живое во мне напряглось, как в приступе корчи. Нити нервов моих натянулись, словно канаты на лебедке. Не знаю, как я не умер от невозможности жить после этого. Едкий, вяжущий сок оросил мои губы. Одно мгновение, и я ощутил, будто навеки застыл в ледяных озерах, будто без конца сгорал на остриях жаровни. И потом – все погрузилось во мрак.

Прошло некоторое время. Я увидел себя распростертым на полу с измятыми картинами в руках. Я все еще не понимаю, какие высшие силы держали меня вне пределов жизни. Я умер на несколько мгновений частью своего существа, и эта смерть без всякого сомнения обнаружилась потерей сознания, в котором растворился приступ моей телесной муки.

И это открытие не явилось для меня обычной пустою забавой. Оно оказалось для меня причиной жестокого и мрачного безумия. Я испытывал бесчувственное состояние, подобное священному ужасу. Я отстранил картины от себя.

Хотел бы лучше никогда их не видеть. Да, я верю, что в этот миг душевной ясности меня посетили святые ангелы сострадания и спасения.

Слезы лились из глаз моих, как будто своими струями хотели смыть недавние пагубные впечатления. Они омыли, хотя на время, мою раненую душу и освежили ее. Я сложил молитвенно руки и попробовал молиться. Хотел произнести слова умиловления, которые научился лепетать в детстве. Но пятно позора уже лежало на моих устах, как и в сердце. Молитва о божественной помощи замирала по мере того, как высыхала очистительная роса на моих глазах.

Ангелы спасенья опять покинули меня. Мои пальцы – послушные служители низменных внутренних влечений – снова почувствовали возбуждение от прикосновения к картинам. Воспоминание о недавнем, избегнутом, благодаря помощи свыше, испытании не могло победить их преступного тяготения, и глаза мои, словно осужденные, снова упали на убийственное изображение.

Тогда я ощутил во всей своей силе беспощадные опустошения гнилой лихорадки, которая овладела мной и уже лишала меня воли. Мой спинной мозг трещал. Я упивался неслыханным клокотаньем сладострастья, насыщался его разъедающим, дурманным зельем. Самая крепкая серная кислота не сжигала бы моей крови более истребительным огнем.

Эта картина похоти засасывала меня, как топкое болото.

Без сопротивления, с душой подавленной и безучастной, я швырнул моих ненужных ангелов спасения в грязь, где валялась груда мусора.

Не было во мне больше страха гибели. И злая радость уничтожения, дикое, бешеное наслаждение осквернить свою внутреннюю красоту отнимали у меня всякое сопротивление и поддерживали во мне это растлевающее настроение.

Но в то же время во мне возрастала ужасающая правда, охлаждая мое жгучие влечение. Как?! Мой отец, этот суровый юрист, известный всем за порядочного человека, пичкал себя

этими грязными картинами похоти! Свой голод и жажду утолял он этими умопомрачительными яствами, как и я! Все, что вкоренилось в меня и было дорогим и священным, разбилось вдребезги.

Я увидел обманчивые маски, великую порочность общества, которая загрязнила даже самых мудрых. Мне показалось, что такое всеобщее безмолвное соглашение оправдывало меня в моих собственных глазах, но зло от этого не становилось меньшим, и краска стыда за общую жалкую слабость не сходила с моего лица.

Стыд за отцовскую наготу, которую я так подло обнаружил, – никогда уже больше не покинет меня.

Ной снова валялся на пути, опьяненный вином плотских вожделений. Я чувствовал себя наказанным за мою доверчивость и уважение к тому человеку, который должен был своим примером предотвратить меня от низменных влечений.

Комната мне стала невыносимой. Словно осквернитель святых останков, выбежал я из этого места, куда завела меня судьба. Я уносил с собой мерзкую книгу и две картины из самых грязных.

В маленьком помещении, которое отвели мне для занятий, среди запущенных деревьев сада, кидавших зеленые тени в мою обитель, я мог свободно предаваться глазами и умом греху.

Иногда я оставлял город и забирался в деревню. Здесь я мог с меньшей опасностью наслаждаться завидными приключениями моего милого кавалера! О, как я завидовал ему! Плакал от восхищения перед ним, как перед героем. Как возбуждающий напиток, как мед, сдобренный пламенным фосфором, впивал я в себя прелестные проказы – весьма умеренные, впрочем, если их сравнить с той грязью, которая с тех пор наводнила наше общество.

В особенности же картины были для меня источником отравляющих и вечно новых наслаждений. Они вливали в меня яд настоящего полового безумия. С застывшей знойной страстью, с пылким изобретательным воображением, переходя от догадки к догадке, я нагромождал болезненные образы – плоды частых кошмаров так, что получалась целая мозаика непристойных фигур. Она стала для меня живым, реальным и многосложным существом, наподобие гидры.

Картины казались мне такими яркими, что я как будто чувствовал в воздухе одуряющее дыхание и едкие испарения человека-зверя. Да, это был похотливый, вечный зверь, рыскавший по пепелищам Содомы и Гоморры. Эти храмы скверны были истреблены серным дождем за то, что предались подобной мерзости плоти. И бесплодная трава произросла из порока оголенной пустыни.

Теперь я согласился бы быть самому осужденным, чтобы разделить и свою долю в этом сверхчеловеческом скотстве. Но я не был уже прежним, трепещущим пред священными запретами, юношей. Завеса разодралась – я познал ужасающую тайну.

В молодом развращенном уме оживают под влиянием этого рвения к злу – муки прежних поколений, измученных жаждой выполнить свое назначенье.

Это рвение погружает его в угрюмую страсть, в мрачное неистовство первобытного человека, вышедшего из состояния девственности и погрязшего в угрюмом фетишизме. Древнее страдание снова вступает в свои права – ибо кто может оспаривать, что в этом не скрывается еще одна из форм Рока, замыкающего человека в круге страданий и толкающего его к освобождению через смерть?

Я праздновал пышный и грустный праздник. Я стал жрецом, который с гневом срывает с себя повязки и повергается ниц к подножию святотатственного алтаря. Я также совлек с себя прежнюю детскую игру. К мерзкой любви простер мои руки – но обнимал один только призрак.

Меня охватывала с насмешкой пустота вслед за обманом неутоленных искушений. Посвящение в таинство любви оказалось для меня неизбежной стадией мученья, обнаружившей во мне рождавшегося мужчину. Я ощутил в себе смутное чувство стыда и гордости, чув-

ство падения и свободное проявление своей мощи. Я смутно понимал, что освобождение пришло ко мне от тех же дьявольских чар, которые меня погубили.

И стал я одержим галлюцинацией картин. Стоило мне дотронуться до них – и мои руки каменели, знобящая, жгучая дрожь пронизывала суставы, как от прикосновения к напряженной от любви женской груди, как при внезапном огненном трепете двух тел. С этих пор я не мог приблизиться к женщине, чтобы не испытывать такого ощущения, чтобы не содрогаться всеми нитями своего организма от этого электрического тока. А вместе с тем я не знал любви в эту пору. Я знал лишь один позорный идол, уродливо заменявший мне красоту. Было одно лишь пугающее, жестокое сладострастие, настолько же напряженное, насколько болезненно и наивно было извращение, питавшее его. Как бы ни была особенна моя чувствительность, я могу засвидетельствовать здесь пред всеми, что ни один я испытывал это сладострастие. Ложная стыдливость, прививаемая воспитанием, отчужденность пола от пола в детские годы, мучительный стыд своих органов – все это постоянно подготавливает почву для подобных этому состояний и вот почему достаточно бывает раскрыть какую-нибудь книгу, или картинку, чтобы забродили и забурлили соки. И бледный юноша в своем мучительном половинчатом познании и неведении начинает создавать себе овеществленные образы и, мучимый призраками, освобождается уродливым и жалким способом от плотских вожделений.

Да, извращение чувства сладострастия, припадки жажды распутства, скрытые и мрачные обряды, которыми оскверняется любовь, вкоренялись воспитанием при помощи нелепого векового заблуждения.

Первоначальное христианство, крещенное в холодной и лучезарной купели – было гораздо меньше состоянием человечества, достигшим понимания божественной красоты, чем искупительным отдыхом, острым, освежающим перерывом вслед за великим кризисом мифологической вакханалии. Отвергнув плотское существо, провозгласив одну лишь духовную добродетель, католическая церковь прежде всего свергла устаревших богов – прежних величавых символов, дошедших до грубого низкопоклонства, до отвратительных ритуалов разнузданного упоения страстью. Природа с ее произвольными порывами, с ее трогательными потребностями стала грехом, стремившимся свергнуть запреты, наложенные на телесную любовь.

Времена переменились. Более утонченное нравственное сознание проникло в человеческие мозги, а мы как будто все еще продолжаем совершать очистительные жертвы, ради искупления первородного греха.

Вечно влачит за собой этот первый, дрожащий человек в лице своих потомков угрызения совести и трепет страха за свои обнаженные члены.

Древнее церковное осуждение не перестает висеть над человеческим существом в его наиболее прекрасные моменты сокровенных побуждений и непосредственной и чистой красоты.

«Прикрой позор своего тела, затки краской стыда мерзость того, что дала тебе жизнь. Ты проклят за свое появление на свет, и врата, разверзшиеся при рождении твоём, закрылись над твоим бесчестьем. Да не дерзай познать себя. Отрекись от тела своего, сладко трепещущего. Да отвратятся глаза и руки твои от приковывающей приманки, которую Божество с какой-то мрачной иронией поместило в середине человеческого тела, как ось твоего существа и повелело тебе презирать ее! Пусть жгучей кипят соки сил твоих, твой нежный пламень страсти и сладкое волнение девственных чувств – все это лишь для того, чтобы ты с жалким высокомерием отсекся от своего столь явного предназначения на земле. Но если же ты будешь все-таки создавать жизнь – совершай это с горестной мыслью, что жалкий плод любви твоей навеки загрязнен!»

Так говорили заповеди, и тот же голос продолжал отвергать познание самого себя, которое является первоначальной обязанностью человека.

Тело стало укрываться. И это было лучше.

Заледенелые лилии девственности познали свою непорочную белизну только при багряном свете стыда.

Но оскверненная природа мстила тайными вспышками, бесконечными и сумрачными наслаждениями, тем более приятными, чем преступнее они были. Неведомый огонь охватил пожаром человечество, залил его вулканической, черной лавой сладострастия, в сравнении с которой языческая любовная страсть казалась веющей прохладой. Но эта страсть перегорела, потому что ей предоставляли свободно гореть.

Грех родился во мраке алтаря из неистовых обрядов смерти – этого последнего символа девственности – блеклый и бесплодный, как и она, родился чудовищным противоречием в брызжущем потоке любви. Кто станет сомневаться, что мистический культ девственности – этот краеугольный камень католического здания, набрасывая покровы и окружая волнующей тайной обнаженный лотос Индии – брачный цветок жизни и вечности – не возбудил в нас адского стремления его познать и не сделал из нас похотливого стада, плетущегося из века в век, вдыхая отравленные испарения, немые и смертельные туберозы Идола, притаившегося в своем капище?

О, нежный, непорочный и ласковый зверь-человек! Дитя – человек! Ты восторгался в ту пору своей лучезарной наготой и восхищался тому, как сочеталась с твоими силами эта дивная гармония среди гармонии Вселенной!

Ты вступил под благодатную сень мира чистосердечным и непорочным с твоим телом, напоминавшим хребты гор, расщелины долин и кудри косматых лесов. Они были не более одеты, чем ты сам.

Они стояли обнаженные под улыбкой зари, под поцелуем полдня, под лаской объятий ночи.

Незачем тебе было мучиться внутренней тревогой, свежей и лучезарной сущностью твоей возраставшей с сиянием твоих очей и постепенно раскрывшейся пред тобой. Светозарный и откровенный, ты чувствовал, как свободно рождается из жизни твоей новый бог! Как же мог бы ты оскверниться, зная себя, зная какую тень бросит и на твой путь необычное движение?

Твоя любовь была величава и проста, как любовь в природе под миганием звезд.

И зверь еще не ворвался в двери Эдема.

Глава 8

Догадки об устройстве женского тела, благодаря описаниям, которые я вычитал из мерзкой книжки, и гравюрам извращенного живописца, не освоили меня со скрытой тайной, а только наполнили меня чрезмерным страхом.

Я представлял это тело более ужасным, представлял себе темные и скрытые чары колдовства, где женщина казалась искусной волшебницей, коварно трудившейся над всеобщей гибелью. Для моего духовного существа это было горючей и живой смолой, не переставая с недавней меня, едва посвященного в тайну юношу, расшатанного разъядающим и мрачным возбуждением.

Я не испытывал никакого наслаждения от связи с этой толстой, животной женщиной, способной удовлетворить лишь такую ограниченную натуру, как долговязый Ромэн. У меня же любовь соединилась с особым тайным обрядом, обрекавшим ее на проклятие.

Мое мрачное влечение облекло женское коварство позорным и властным искусством, тем более гнусным, что орудием его были презренные и низменные части творенья.

Так научили меня относиться к ним у отца и в коллеже. И с тех пор каждая женщина для меня таила в себе грех.

Ее утроба, предназначенная для людской пагубы, предстала предо мною, как колдовская чаша, как раскаленный котел пылающих адских огней.

Страх и желание тем более отталкивали меня, что я уже был окован цепями страсти к ее телу и запутался в сплетеньях виноградных лоз ее величественной красоты, в которой бродили соки вождления.

И я ненавидел ее столько же, сколько и любил.

Вспомните, что тогда был я только юношей, извращенным именно вследствие своего чрезмерного целомудрия, и подумайте о тех жестоких ошибках, которые были причиной этой болезненной развращенности.

Глава 9

Мой отец мечтал для меня о спокойной обеспеченности и об умеренных и правильных занятиях юриста в провинции.

У него было достаточное состояние и некоторая доза умеренного честолюбия, так что он не желал большего и для сына. В нем можно было заметить прежде всего старание казаться человеком высокой нравственности. И он был им, несомненно, в глазах людей. В душе своей он лелеял мечту о достойной для меня трудовой и безмятежной жизни. К сожалению, никакого призвания к юриспруденции я не чувствовал. Пылкое и чуткое воображение и мой чувствительный и своевольный ум влекли меня скорее к иным занятиям, в которых греза играет большую роль. Тем не менее я повиновался его приказанию, ибо между нами никогда не было откровенных отношений.

Он пользовался своею властью отца, чтобы предписывать мне послушание и не допускал с моей стороны возражений.

Он сбыл меня на руки одной родственнице, жившей в университетском городе, где я должен был поселиться. Я спрятал на дне сундука «Любовные приключения кавалера Фобла» и две картины, ставшие для меня средством усиленного умственного разврата.

Прибыв на место назначения, я встретил молодых людей, стремившихся вдоволь испытать наслаждения, благодаря свободе и удаленности от родительского ока. Это уже весьма отличалось от мальчишеских выходов моих школьных приятелей.

Эти молодые люди находились на пороге жизни. Они перешагнули возраст неясных волнений, когда тело только начинает искать себя. Большинство из них старалось только как можно быстрее достигнуть положения, чтобы затем насладиться существованием. И поэтому они делили жизнь между развлечением и наукой.

Само собой разумеется, я тотчас же был подвергнут испытанию относительно моих склонностей, о степени моего знакомства с женщиной. Я остерегался признаться им, что она была знакома мне лишь по случайным и очень поверхностным приключениям. Например, я старался поразить их многочисленными спокойно переданными рассказами о моей опытности по этой части. Я делал вид человека, давно потерявшего свою невинность.

А между тем, я вел замкнутую и скрытную жизнь. Ночных прогулок, бесцельного блуждания, наподобие охотника, по следам добычи по однообразным и суровым улицам в самом сердце города – я избегал из жалкой трусости и малодушия.

Опасливо сторонился я поездок по увеселительным садам, куда отправлялись почти все, катанья на лодках вдоль реки в сообществе залихватских девок, боялся осушать с ними круговые бокалы любви. Мои новые товарищи обзаводились любовницами, которые после кратковременной связи переходили к другим. И так сообща разбрасывались трудовые родительские деньги на разные товарищеские попойки, на пляски разных балетных танцовщиц, на скачки в манежах верхом на деревянных конях.

Эти веселые молодчики, разбухшие от деревенского приволья или провинциального здоровья, полагавшие все свое назначение в будущем – чесать языками на судоговорениях, или в том, чтобы вскрывать с хладнокровием мясников внутренности своих ближних, совсем и не догадывались о мучительных припадках моего болезненного эротизма. Я завидовал их непридуманной развязности в обхождении с девицами, умению добиваться взаимности, их ограниченной чувствительности, благодаря которой они получали любовь, как сами выражались, среди забав. Женщина для них, как и для Ромэна, была лишь плотью для наслаждения, жирным яством на замаранной скатерти шинкаря, чаркой вина, поспешно опорожненной на пороге харчевни. Напротив, для меня она продолжала хранить священное и грозное обаяние, как черная Изида.

Я остерегался следовать за ними в увеселительные учреждения. Кроме того, как следовало вести себя и какой делать вид при дерзком натиске уличных девок – я совсем не знал. Где было знать мне – девственнику, измученному нечистой жаждой, сжигаемому, как смешное подобие Геркулеса, пылающей одеждой собственной непорочности. Теперь мне было стыдно за эту непорочность. Я сознавал, что для молодого, свободного и пылкого человека моего возраста пребывание в безбрачии являлось каким-то противоречием. Я производил на самого себя впечатление сельского священника, закаленного в воздержании и высыхающего телом, как угодник божий под защитой крестного знамени.

Да, я думал об этом, как все люди, ибо девственник является посмешищем в глазах всех, кто отказался от своей невинности, но не хочет называться развратником.

Я говорил себе: «Так не может дальше продолжаться, пора положить этому конец!» Но небывалый трепет во всем теле и боязнь женщины, смешанная с нестерпимым отвращением к самой женской форме и ее полу – этому средоточию всего ее существа, низводившего ее, на мой взгляд, на степень животного – постоянно заставляли меня отсрочивать исполнение моего решения.

Я должен признаться во всем. Религиозный пыл еще не остыл во мне. Церковные строгости запали в мою душу и питали мою недоверчивость к вечной и коварной искусительнице, пускавшей в ход различные козни против своей добычи. Женщина являлась для меня завоевательницей, одетой в шелковые ткани поверх облакавшей ее груди брони. Ее подвижные члены, гибкие, как лианы и упругие, как металл – были созданы для того, чтобы покорять немощные силы самого бесстрашного героя. Плавное колебание ее бедер напоминало замысловатый, ускользающий узор, скрытные движения нападающего зверя. Черное, червонно-золотое пламя ее волос венчало ее шлемом, спадая, разливавшим густые потоки реки, где, как в Лете, тонула ненужная добродетель мужчины. Вначале одинокая и маленькая Ева, она размножалась с течением веков и до сих пор повторяла вековечный миф, предлагая левоверному Адаму смертельный плод своей красоты.

Глава 10

Я жил в доме на главной городской площади, против собора. Из окна мне была видна паперть храма с глубокими сводами, украшенными летящими ангелами. Богатые украшения покрывали камни, как сад символов, и словно одухотворяли – точно живой молитвой с пламенными порывами к небу – великолепное готическое здание с легкими вышками стропил, веретенообразными колоннами из мощных пластов камней.

И полный горячей детской веры, научившей меня божественным притчам, я устремлялся душой к острым шпилям, к таинственному знаку священного зодчества. Почти ежедневно проникал я на паперть, входил, чтобы сотворить молитву в тени колонн. Но величественная красота обширного свода, таинственный смысл готических линий, видневшихся через мои окна, – все это как нельзя более совпадало с наполнявшим меня чувством обожания и преклонения.

Утренние лучи света озаряли башенки, разливали сияние над легендой блаженных, почивающих в склепах, преломлялись движущейся радугой на устремленных ввысь шпилях собора и, оживив лепестки архитектурных розеток, угасали в лиловой светотени паперти.

Как будто воздвигнутая рукой мастера-сверхчеловека из хвalebных песнопений эмали и самоцветных камней, из гимна узорных алмазов выплывала в туманной высоте кружевных облаков небесная прозрачная рака. Полдень вслед за утром разбрызгивал свои знойные струи, погружал в расплавленное золото и свинец воздвигавшееся на головокружительной высоте сооружение, опалял багряным дыханьем распахнутые входы.

Святые угодники и звери-единороги, и змеи, казалось, сгорали на адском огне, и языки пламени чудовищного горнила с жадностью лизали их тела.

Но вот распростерся пурпуровый вечер. Потоки розовых лучей вытекали из пронзенного тела дня, подобно крови из ран Распятого. Ниспадала светозарная, алая мантия со множеством складок, медленно окутывая храм. Церковные стекла полыхали, как озера жидкого пламени, как огнедышащие тигли расплавленного металла последним пышным блеском. Иссякали чаши, куда стекала кровь алого солнца, пустели купели святой воды, над которыми склонялось бледное чело ночи.

В неземном пламени сверкали, пылали и озарялись в круговороте багряных, огненных языков соборные своды, высокие шпили, углы и выступы, сцепленья крючьев и клиньев – лилии и пальмы сада чудес, плодоносные гроздья и лозы виноградника символов снопы цветных огней и факелов в сумраке над мистическим садом и в глубине мгlistых пещер.

То в утренней заре, то в вечернем закате, в узорах серебряно-розового инея, в лучезарных звенящих кристаллах утра или в закатном смешении пурпура и крови – чудесное здание наполнялось сверхъестественной, молитвенной и вместе зверской жизнью, кишевшей толпой апокалиптических и языческих видений: венценосными апостолами, украшенными пальмовыми ветвями мучениками, двуликими, двуполыми демонами, ларами, лемурами, гадами, змеями, сонмами демонов и святых. Даже ночью, при прерывистом звездном сиянии, небывалое очарование продолжало производить иллюзию населенного и размножавшегося мрака. Выростала чудесная дремучая чаща, где животные и растения сплетались в одно для божественных или окаянных деяний, для греха, милосердия и молитвы.

И вот, благодаря созерцанию этих торжественных картин, я стал под конец приписывать этой чудесной жизни камня, как Идолу, мои слабости и пороки, надежду и отчаянье, точно эта жизнь была каким-то духовным прозрением, каким-то внешним образом моих переживаний.

Издаലെка мои глаза ясно видели, к моему страху и благоговению, служителей Господних, милосердных избранников небесного воинства и их вековечных врагов – приспешников Сатаны. Слуги Ада с искривленными телами и ужимками втягивали бесконечные вереницы людей в недра чудовищного и ужасного зверя. Проклятый виноградник снова расцвел, покры-

ваясь непристойной растительностью и сталкивая блудников друг с другом. Пышные, полные вождения, виноградные грозди, набухшие от греха предков, поднимались все выше и выше, зацеплялись за паникадила, пробуравливали своды, вскидывали свои ветви до самой верхушки.

Во время чтения часов и в повечерие, в раннее утро и багровым, позлащенным вечером, из виноградных гроздей сочились струи похоти и разливали дьявольские соки, наливались огненной сладостью блуда, бешеною страстью, когда во мне закипала похоть.

В противовес божественной евхаристии, преломлению хлеба и вина в присутствии коленопреклоненных ангелов, окутанных облаками фимиама – творилась нечистая пародия звериного полового смешения, кошунственная месса, орошенная свежей кровью, вырывавшейся через шлюзы бурным потоком и обдававшая человека безумием и ужасом. Вероотступники-монахи со свиными лицами, похотливые монахини с отвислыми сосками, бросая насмешку над Святыми дарами – сплетались телами с косматым сонмищем козлов, лисиц и обезьян. Проворные дьяволы под их блудливые тела подсовывали раскаленные решетки или подставляли острые иглы, как знаки неминуемой кары.

Я лишь гораздо позже узнал, какой сатирический смысл содержался в этих карикатурах, в этой каменной хронике, в которой насмешливые иконописцы в союзе с церковью выступали против нищенствующих орденов, намекая на их скрытые, грязные деяния.

В особенности изображение под одной из лампад в правом углу паперти странно приковывало мое внимание. Нагая блудница с обезображенным лицом, напоминавшим морду животного, с потускневшими от времени красками, сидела на коленях монаха и предлагалась ему. Подол власяницы монаха уже пожирал огонь жаровни, которую разводил под ним усердный дьявол, старательно раздувая угли, и, однако, ни монах, ни блудница, по-видимому, не подозревали, что вот-вот пламя поглотит их. Бешеною похотью извивались члены этой рабыни порока и отражались в моих глазах, как живое, трепещущее тело. Тело ее воспламенялось и рдело среди обширного виноградника, озаренного розоватыми лучами утра или нежным пурпуром наступающего заката.

И меня она посвящала в тайну своих недр, как Ализа, пришедшая ко мне раньше других, как пышная Ева в доме с опущенными занавесками. Порой она представлялась мне то той, то другой и возбуждала то греховное наслаждение, к которому обе они меня звали и которое не было однако утолено.

Пламя, охватывавшее рясу монаха, передавалось и моей одежде и моему телу, как будто уже пылавшему на углях и навсегда запечатлевшему на себе знаки ожогов.

И эта картина, вызывая во мне снова искушение и укрепляя мою наивную веру в вечную муку, в одно время и унимала и возбуждала мои дикие страсти.

Глава 11

Около этого времени я приобрел в лавке одного из букинистов, которых развелось около университета великое множество, различные руководства о половом вопросе и о последствиях любви.

Убогие и неказистые рисунки наглядно разъясняли текст. Они как будто были старательно выведены острием скальпеля, тщательно выгравированы на меди, как сплетенная грубыми и ловкими руками живая паутина. И все они, в общем, представляли для меня ужасное зрелище обломков трепещущей жизни – ключев человеческого мяса, из которого вытекала кровь на плиты боен. А вместе с тем – в них-то и скрывалась тайна, и страшное очарование пола раскрывало в своем источнике скорбное чудо вечной жизни человечества!

Я был ошеломлен, словно погребальным видением, натиском ужасного хора мертвецов, восставших из могил. Обширный виноградник вождения, пуская во все стороны искусительные ветви, смачивая свои колючки и завитки безумным и разгульным соком сладострастия, оказывался счастливым проклятием рядом с этим предопределением любить лишь в объятиях страха на ложе, пропитанном зловонным зноем и смоченном липкой влагой.

Я как будто вступил в пределы ядовитого сада, где из чашечек цветов сочилась смрадная кровь и который был обставлен с коварным умыслом так, чтобы от ужаса и отвращения подавлялась болезненная похотливость людей, если только она, побеждая все препятствия, не перекидывалась здесь в неистовый садизм. Порой в таких изъязвленных, покрытых проказою обликах представляются в аквариумах мягкотелые и ноздреватые полипы и актинии, унизанные вздутыми гребешками и вспученными сосочками. Даже анатомический стол, заваленный фибромами и кистами, не подавлял меня так, как эта клиника любви.

Отвратительные признания моих школьных товарищей были превзойдены. Они и не подозревали в своем нелепом сквернословии, что любовь способна сама себя осквернить и превратиться в великий позор мира. Как обезьяны со своими маленькими обезьянками-самками, они забавно передразнивали священный обряд, насмехаясь над жертвенным алтарем, но они не ведали высшей муки. Они смеялись над наготой своей и не чувствовали, как вонзались в их неопытное тело шипы пагубной науки.

Я раньше не знал ничего из того, чему они научали друг друга, а теперь знал больше всех их вместе: я познал страстные и сильные муки любви.

На грязных и топких основаниях колебались золотые и яшмовые колонны.

Потоки извержений, кровь и соки болезненной похоти набегали валами на ступени храма.

И лишь один Спаситель – проповедник религии всепрощения и любви, обратив свой страдающий лик к небесам искупления, стоял над этой гнусной грязью и простирал милосердную руку, кропя водой крещеные зародыши жизни, зачатые в очагах заразы.

Впервые изведаль я щемящую, горькую жалость. Она перемешивалась с ужасом и с презрением к моему телу, не перестававшему трепетать до самого порога смерти, подобно дереву, в котором еще бродят соки, хотя его сразила молния.

Несчастливые люди, которые не могли отречься от Красоты и Любви! Их кровью пропиталась земля! Как на японских изображениях, они вскрывали себе внутренности и украшали ими ноги Идола, наподобие гирлянд из колец, бус из изумрудов и рубинов, для его забавы, принося себя в жертву, жаждая с дикой яростью, со сверхчеловеческой радостью упиться смертью через любовь. Трагическая судьба не расторгла союза этих двух зловещих сестер: любовь простирала над человечеством холодные объятия смерти, а смерть лиловыми перстами сжимала жалобные уста, которые, воскликнув, застывали раскрытыми в мгновенной вечности любовной спазмы.

И я тоже обнимал Нечистую лихорадочно и страстно дрожащими руками и бросал к ее ногам свою жизнь.

Никогда я так безумно не любил Ализу с берега вод. Она, как и множество других, умерла от любви. Река надела ей кольцо и обручила ее с тенями. О, как истерзала она меня и как мучительно призывал я ее с того берега, который навсегда она переступила!

И эта Ева со своим чудесным земным и коварным именем стала для меня еще более презренной и милой. Как Ева Рая, она взяла меня за руку и повела к вратам любви. О, милосердная блудница!

Образ любви в них, как и во всех женщинах мира, представлялся мне уродливой маской, приплюснутой над зияющим провалом лика смерти.

Для меня это было великим испытанием. Меня охватывали приступы судорожной чувствительности, я застывал над мертвыми водами бытия и, вслед затем, желание изведать бессмертное страдание вновь возвращало меня к жизни. Я постиг, что Бог наделил таинственное женское тело болезнями и ранами, чтобы сильней заклеить ее своим молниеносным гневом.

И половое существо, алчущее и жаждущее, превратилось в кровожадную горгону, заполнившую своими щупальцами все извивы пещеры. И мне показалось, что, наконец, я постиг женщину во всей красоте ее убожества и позора.

А если бы, вместо пагубной случайности, раскрывшей мне сразу и любовь и ее язвы, осторожные воспитатели научили меня, что мои скрытые органы – эти символы вечности – обладают такой же красотой, как трудящиеся и засевающие руки, как мыслящее чело и очи, отражающие сиянье небес, да, – тогда я не был бы и несчастным юношей, не перестававшим и в страстной муке терзаться мучительным желанием.

Глава 12

Моя родственница, уже пожилая особа, возмущенная вечными обманами прислуги, наняла экономку для присмотра за домом. Это была высокая, зрелая брюнетка с угловатой фигурой, с мужской походкой и резкими движениями, словно рассекавшими вокруг себя воздух. Ей уже перевалило за сорок, и называлась она причудливо, по-мужски – Амбруаза.

Эта Амбруаза со своим мясистым, вытянутым носом, с чрезвычайно подвижными маленькими, сероватыми глазами под совершенно сросшимися бровями была бы совсем некрасива, если бы ее лоб не был украшен великолепной гривой каштановых волос с жгучим, осенним, багряным отливом. Но я не обратил бы на нее никакого внимания, если бы ее упорная предупредительность не преодолела, в конце концов, моего безразличия.

Она улыбалась мне с нежной и грустной покорностью. Ее руки как будто всегда старались задеть меня. Входя к себе в комнату, я несколько раз находил на своем столе небольшие букеты цветов, которые она покупала на улице.

Когда она входила ко мне, то всегда громко вздыхала. Я чувствовал себя отчасти смешным и неловким, как все мужчины, открыто преследуемые престарелыми и некрасивыми женщинами.

И вот однажды утром, когда я должен был из-за болезни остаться в постели, она вошла в мою комнату, поставила на полочку какую-то склянку с отваром, вышла и снова вошла, обнаруживая какое-то волнение. Лицо ее покрылось бледностью, глаза горели, как светлячки, и, прижавшись к моему изголовью, она глядела на меня с каким-то беззвучным странным смехом, обнаруживавшим широкий ряд ее зубов. Я повернулся лицом к стене, охваченный боязнью и тягостным чувством. Но почти в тот же миг она наклонилась надо мной, стала ласкать своими длинными руками мои волосы, так нравившиеся всем женщинам.

– Господи, какой он славный! О, мой маленький боженька!

Она говорила мне в каком-то легком бреду и обдавала лицо мое горячим дыханием и жгучими вздохами.

Застыв на миг в нерешительности, она внезапно бросилась на постель, схватила меня в свои объятия, безумно впиваясь в мой рот своими губами, и с хриплыми сдавленными криками яростно набросилась на свою добычу, подобная великим сладострастным амазонкам былой поры. Но ее бешеная страсть не действовала на меня. Я был спокоен. Не противился ей, оставаясь равнодушным к этой неожиданной любви. Кофточка вдруг спала с нее. Распустились завязки юбок. Разметались, как крылья ночи, пышные пряди ее волос. И понял я, что всякая женщина становится красивой в страсти.

Эта высокая девушка, сжигаемая адским огнем, овладела мной бурным порывом. Я трепетал в ее объятиях и впал в сладкое забытие. А она мне шептала в исступлении:

– Мой маленький боженька... милый, славный боженька! И упивалась с дикими порывами. От нее пахло каким-то кислым едким запахом, как с поля брани.

Так познал я любовь.

Она раскрылась предо мной в тот миг, когда из моих нервов еще продолжала сочиться кровь, и я был пронизан ужасом и отвращением. Эта женщина с мужественным и страстным сердцем, не обращая внимания на мою жалкую трусливость, научила меня любви, которую так нежно раскрыла мне Ализа и не могла дать мне эта ласковая, как мать, Ева.

Потом мне стало грустно. Ужели эта Любовь?!.. Мучительная, судорожная спазма в момент агонии... Мне вспоминается теперь, с каким я усердием вымывал свои губы после этой любви.

Мучительные образы испарились. Мои грезы о великом безумии страсти потонули в этом пошлом упоении похоти, в этих грубых и достаточно тусклых наслаждениях. Моя постель оказалась соломенной подстилкой хлева, где засыпало животное сытным и безмятежным сном.

Все изменилось в моих представлениях. Женщина предстала предо мной служанкой неопрятного и бездушного акта. Я не страшился больше ее тайны. Я был подобен ребенку, боящемуся ночных привидений, пред которым зажгли внезапно свет.

Теперь я знал, теперь я все узнал: ужасное видение изменилось, смирившаяся кровь успокоила мое больное безумное воображение.

И юноша все же сказался во мне: если перед приятелями не посмел хвастаться этим любовным порывом Амбруазы, – внутренне я ужасно гордился происшедшим.

Эта пламенная девица со своими страстными порывами стала для меня спокойной привычкой, источником правильных удовольствий. Она горела странным жаром, называла меня постоянно своим маленьким боженькой и милым ангельчиком. В ее страсти было столько же естественности, сколько и отголосков долголетней религиозности. После утоления страсти она старательно перебирала пальцами свои четки.

Однажды она призналась мне, что была одно время набожна. Один из монастырских садовников изнасиловал ее. Она мягко и осторожно умела поправлять одеяла и подушки у больных.

И вот, благодаря неприязни к ней горничных за ее требовательность и строгость, она должна была уйти. Больше я не видел ее.

Снова начались для меня дни поста. Бредовые видения вновь владели мной, но уже не так, как раньше. Предо мной вставляли яркие картины, ужаснее прежних. Я не мог видеть во время прогулок ни одной женщины, чтобы не представлять себе ее тела и рисовать ее в момент любви. Во всех женщинах чудилась мне та, которая овладела мною раньше, чем ею я.

Я осквернял робкую прелесть девственности, насилуя в своем воображении тело каждой встречной женщины. Я был потаенным насильником, мысленно срывавшим с тела ткани одежд. И теперь, когда я уже знал скрытую тайну телесного облика Женщины, она вручила мне, животная и обнаженная в своих отправлениях, судьбу своего хрупкого и неразрушимого источника страсти.

Ее значение теперь переменилось. Ее тайна исчезла. Она перестала казаться мне жрицей колдовского обряда, Цирцеей, превращающей человека в зверя. Сама она была зверем со знаками зверя на своем теле, с звериной, пожирающей и лязгающей пастью. Ее недра были разверсты, словно разорвались от гнева богов, словно расщепились от удара грома. Вечно живая, раскрытая рана алкала и взывала, стала ее мстью против мужчины и победой над ним.

Я накупил книг, читал с горечью и мукой Флобера, Гонкуров, Золя. У Бодлера я извещал развращающее наслаждение. У Барбэ д'Оревильи я испытал отраву глупого извращения. Да, это были златоусты, прокаженные, ясновидящие пророки человечества. Все они изображали женщину, как золотую муху навозной кучи мира, обезумевшую пчелку, кидающуюся в погоню за самцами, как ненасытного спрута, всасывающего в себя мужчин, совершая работу истребления. Она выставлялась в трагическом и диком виде, в ореоле жестокого величия.

Едва я узнал женщину, но никто не сказал мне, что она сестра моя, страдающая тою же мукой, что и я. Меня научили только презрению к своему телу, ужасу и стыду пред органами жизни.

И великие художники также учили меня в свой черед: «Смотрите! Она – истребительница духа, чудовище со множеством змеиных щупальцев. Она – язва рода человеческого. Если она рождает жизнь, то для того, чтобы жизнь потом растаяла в ее проклятом горниле страсти, чтобы ее дети, ставши рабами ее ложа, приносили себя в жертву у ее великолепных и непреклонных ног». Эти книги подкрепляли уроки моих первых учителей. Победное тело женщины

рассеивало лепестки ее вечно живого греха всюду, куда она ступала. И Вселенная была отравлена ее ядом.

Я не ясно понимал еще моей болезни. Она таилась в глубине моего я. Она захватила все мои мозги, как разъедающий микробный токсин, как смертельный яд самой любви. А между тем, заразное начало не было мне врожденно. Оно было результатом заблуждений половой зрелости, избытка моей болезненной чувствительности. Если бы, еще ребенком, я участвовал в играх с девочками моих лет, и невинная симпатия, определяющая будущие склонности, сроднила нас, если бы позднее не привили мне ложной стыдливости и отвращения к своему полу, – я избрал бы себе женщину по сердцу и пылкая природа моя укротилась бы под сенью семейного очага.

Моя болезнь была несомненным извращением тяготенья к тайне существа женщины. Болезнь так вкоренилась, что я не находил силы противостоять ей. Лишенный всяких предупреждающих и оздоравливающих средств в борьбе с нею, я не был в состоянии предотвратить то, что так долго мучило меня, подобно жестокой галлюцинации. С годами возрастало и странное физическое страдание, возбуждающий электрический трепет, пронизывавший мои нервы при приближении женщины.

Но казалось мне, я познал ее теперь всю. И испытывал одну мучительную тоску, чувствуя ее отдаленной от меня бесконечными преградами греха и моральных предрассудков общества. Я стал еще более одиноким с той поры, как она предстала предо мной. И оба мы – она и я – шли разными путями.

Глава 13

На соседней улице жила молоденькая девушка. Я проходил каждое утро мимо ее окон, и она постоянно сидела за окном с шитьем, которое казалось бесконечным. Я знал, что у нее были бледные, покрытые жилками руки. Она вышивала по канве с грустной и нежной грацией, словно была обречена убивать день с каким-то таинственным стараньем.

Не переставая, мелькала она своими красивыми руками, подобными цветочным лепесткам, над тканью. Может быть, подбирала узоры для вышивки.

Этого я не мог узнать никогда. Видел в окне только ее плечи и руки. Окно было высоко, и остальные части ее тела были скрыты от меня. Представление о невольнице, заточенной в глубине сумрачной от занавесок комнаты, словно образ сновидения, выступающий в отдаленной глубине зеркала, – привлекало меня к этой девушке. Ничего о ее жизни я не знал. Я знал только мучительное очарование ее рук, анемичную бледность ее волос. Она стала для меня милой грезой мирной и замкнутой жизни, как та жизнь, которую она вела там, в доме своих родителей. Я приходил к себе в комнату, подавленный чувством одиночества.

Щемящая тоска по нежной, отзывчивой женщине с каждым днем все сильнее охватывала меня, и я не испытывал больше болезненной страсти к ее телу. Как и тогда, после истории с Ализой, я ворочался на своей постели, целовал, рыдая, родной и милый призрак. Искреннее страдание снова охватило мою юную душу сквозь жгучее и смутное чувство. Еще зверь не успел проникнуть в высшие центры моего мозга: внутри меня еще скрывалась непорочная свежесть и чистое благоухание жизни, как нетронутая часть моего существа.

Наутро я снова был там. Приходил в послеполуденное время. И с наступлением вечера видел ее грезившей, быть может, с грустью, как и я. Она не отрывалась от своей печальной и символической работы, ибо для меня беспредельная канва, по которой она безостановочно мелькала иглой, была символом ее жизни.

Она заметила меня. Как будто порой взглядывала на улицу, по которой я проходил. И тогда на мгновение руки ее переставали водить иглой. Я успел в эти минуты заметить, что глаза ее были цвета дождевой воды и очень ласковые. Они так подходили к усталому движению ее рук и к матовым без блеска волосам.

Я любил эту девушку, как любил высокую Дину, Ализу и всех любимых моих детских лет. Но не могу сказать, чтобы любил ее такую же любовью, как и тех. Я любил ее со всей тоской моей чистой любви, всем пылом юношеских лет. И позабыл, что уже познал женщину. Это был припадок чистоты, подобный приступу религиозного рвения, когда я шел причащаться, держа свою непорочно белую душу в руках, с тайным страхом пред Святым Таинством.

Я называл ее в глубине души смутным, обаятельным, как и она, именем: «моя Дева». Ведь она являлась мне в едва видимой телесной оболочке, скорее воздушной, закутанная легкими тканями, как маленькая Святая Дева часовни среди облаков ладана.

Я не знал, пойду ли когда-нибудь к ее матери, да и была ли у нее мать. Иногда к ней приближалось чье-то старческое лицо, которое так же могло принадлежать матери, как и дряхлой кормилице. И жил я так, не сознавая самого себя и все свое будущее, в котором сам я представлялся себе, как бы в отдаленном зеркале, сквозь прозрачную пленку, где в глубине таилось что-то бесконечно чистое и сладкое. Продолжалось такое состояние довольно долго, я не мог бы сказать сколько именно, ибо в своем безумии потерял чувство времени.

И вот однажды, проходя мимо дома, я не заметил у окна этой девушки, но почти тотчас же дверь растворилась. И увидел я, что еще ее не знал, и все, что казалось мне в ней таинственного – было очень далеко от той красоты, в которой она мне вдруг предстала.

Это было в начале лета. Траурное платье ее спало до самых ботинок. На шляпе развеялся легкий креп, из-под которого выбивались бледно-золотистые пряди волос. Я догадался

теперь, почему у окна, в тени занавесок, она казалась мне похожей на маленькую монашку, мастеровившую из тканей невидимый саван. Благодаря этой траурной одежде еще сильнее сгустился полумрак вечно закрытой комнаты.

А теперь, в трепетном сиянии утра, от ее прекрасного и свежего существа веяло дыханием розы. И я уже позабыл, что она так долго грустила за окном и отдавалась столько дней скучной работе. По моему телу пробежала лихорадочная дрожь. Я впивал, как золотой напиток, как жгучее вино островов, размеренное колебание ее бедер, тонкую, волнистую прелесть ее неожиданно новой красоты.

Она уже не была обманчивой лилией, которая посещала мою мечту среди закрытых, белых тканей, среди непорочных, белоснежных дорог, куда ее вела моя тоска о непорочной жизни. Теперь она облеклась в сочные краски жизни, предстала в разгаданной тайне своего облика и снова становилась для меня навязчивым бредом.

Вся женщина раскрылась предо мной в тот миг.

Воскресли ужасные образы – целый сад чудовищных цветов. Снова глаза мои скользнули по ее фигуре, сорвали одежды и ослепились сияющей наготой. И ею, этим ребенком с таким влажно трепетавшим телом, обладал я в своей мечте, как куртизанкой.

В следующие дни я не проходил уже больше мимо ее окон.

Глава 14

Я снова чувствовал себя каким-то потерянным, ужасно несчастным пред навсегда закрытыми воротами Рая. Греза моя умерла. Остались лишь у ног моих одни разбитые осколки бедной, непорочной святыни.

Я должен был признать, что не в силах взглянуть ни на одну женщину, даже не познавшую еще любви, чтобы тотчас же не начать думать о ее наготы. Я был изгнанником из сада невинности, из непорочного Эдема, где ходили рука об руку прекрасные счастливые пары. Мою кровь обожгли чары колдовства, и я чувствовал себя обреченным судьбе. И вскоре так оно и случилось.

Да, я знал теперь ясно, отчетливо сознавал, что никогда не взойдет во мне, как на сожженной земле чистый цветок любви. Соль и огонь иссушили живые источники, и иссякли каналы, в которых душа освежалась утренней росой жизни.

И вот теперь я начал убеждаться в присутствии во мне неизлечимой болезни. Она обуславливалась тем, что мое воздержание долго сдерживалось и не было удовлетворено, ибо, воздерживаясь, я только насилую саму природу. Оно заполнило, как дымом, мой мозг, овладело моим духовным существом гораздо сильнее, чем грязное сладострастие Ромэна, толкавшего свою сестру на диван. И, однако, он выберет себе среди девственниц юную, созревшую девушку, которую будет уважать, и введет в свой дом в наряде строгой красоты непорочной невесты.

Я снова стал жить в суровой чистоте, в одичалом целомудрии монаха. Мне самому казалось, что я стал старым, обремененным грехами человеком, заглубившим в сугубых лишениях, повергаясь в последних «борениях плоти» на камень покаяния. Я исповедывался, надеялся, что Бог отвратит меня от греховных, продолжительных искушений. И, словно молитва моя была угодна Богу, – утихли во мне терзания плоти. Я больше не читал романов. Погружался на целые дни с терпением и скукой в изучение законовещения.

Такой продолжительный покой позволял мне надеяться на полное выздоровление. Он примирил меня с собой самим. Я чувствовал себя способным к самым твердым решениям.

Как-то вечером я даже бросил в огонь пагубные картины – преступное наслаждение моих глаз. Бумага свернулась в тонкие пепельные лепестки. Но виноградных, похотливых лоз с их ветвями не вытравил огонь. Они заполнили мозг моих костей. Как буравчики сверлили мои глаза, обвили мои мышцы цепкими сетями, из-под которых сочились ядовитые соки. И снова я стал узником, одержимым бредом половых видений, которые словно бороздки на металле навсегда остались врезаны в моих воспаленных безумием глазах.

Я предал огню похотливые образы, извратившие мое девственное чувство. И думал: «Самое важное в жизни – обладать твердою волею, все остальное приложится само собой».

Я не знал, как сложится в будущем моя жизнь, но одно мне было ясно – что я никогда, никогда не найду такой любви, какую, быть может, в этот самый час обрел Ромэн.

Вместе с тем мой прежний недуг утих. Я подчинился теперь моему сластолюбивому чувству, как роковой немощности моей натуры, как болезни, приступы которой с возрастом будут повторяться все реже.

Когда воздержание становилось порою для меня нестерпимым, я, озираясь, пробирался в дома с занавесками.

Глава 15

Однажды утром, в конце второго года, я получил по почте известие от одной из наших горничных. Эта преданная девушка сообщала мне, что с моим отцом сделался удар, когда он проходил по площади. Ему пришлось пустить кровь, и опасность миновала. Однако же, он хотел повидаться со мной немедленно.

Хотя отношения между нами всегда были довольно натянутые, как между отцом старого закала и сыном, я все же почувствовал большое волнение. И тотчас же стал укладываться.

Уже раздался свисток паровоза, как вдруг дверь в купе, которое занимал я и еще одна супружеская чета, быстро распахнулась, и кондуктор пропустил перед собой молодую женщину, запыхавшуюся от быстрой ходьбы. В полумраке купе, усиливавшемся от густых облаков дыма под вокзальным навесом, я заметил сначала только резкие и гибкие движения ее фигуры, когда она промелькнула мимо меня и опустилась на противоположное сиденье. Она вся еще трепетала, и кофточка ее колебалась от учащенного дыхания.

Послышались мерные стуки вагонных колес по рельсам. Мы тронулись.

Ряды домов среди зеленой листвы предместьев мелькали, как моросивший и угрюмый дождь мимо окон.

Я увидел, что вошедшая приподняла наполовину свою черную, как и платье, вуаль, и пряди ее волос спадали кудрями на матовый абрис ушей. Тонкое плетенье ткани закрывало ее глаза, которые я не мог разглядеть. Я видел только нижнюю часть лица с плоским и приплюснутым, слегка вздернутым носом, и оно показалось мне скорее некрасивым.

Случайная встреча с женщиной в поезде, когда не знаешь, долго ли протянется путешествие, эта неожиданная, почти интимная близость двух незнакомых людей, притиснутых друг к другу в узком купе – всегда являлась для меня странной причиной волнения. Необъяснимое влечение, которое даже при одном прикосновении платья обдавало меня нервной дрожью, в такие моменты сильней напрягало все фибры моего существа и превращалось, в конце концов, в нестерпимое подавляющее чувство. Но на этот раз я не чувствовал никакого интереса к этому лишенному красоты лицу, и глаза мои не переставали блуждать в то время, как экспресс мчался с головокружительной быстротой по скучным однообразным равнинам, в глубине которых мерещился мне образ отца, быть может, уже с потухшим взглядом.

Мрачные предчувствия, несмотря на успокоительный тон письма, леденили мое сердце. Я с щемящей тоской снова почувствовал узы, связывавшие меня с отцом в детстве, привязанность прежней дружбы в большом, пустынном доме, где он едва проявлял ко мне материнскую ласку, где молчаливый и важный господин, всегда одетый во все черное, удерживал меня от моих юных заблуждений.

С резким грохотом вагонов и глухим гулом рельсов, с мелькавшими очертаниями небольших городков проносились мы мимо станций, где за шлагбаумом толпились задержанные пешеходы и пролетки. Эти станции казались тоже грустными под струями проливного дождя, под тоскливым небом, задернутым серою дымкой.

Вдруг я почувствовал всем существом, что дама в вуали на меня смотрит. Быстрый электрический толчок заставил меня повернуть глаза в ее сторону. На мгновение взгляды наши встретились. Она откинула вуаль на свою бархатную, поношенную шляпку, которая просто, без всяких цветов и перьев, украшала ее голову.

Я увидел, что оценил ее неверно. Хотя она и не была красива со своим матово бледным, несвежим лицом и чувственным плоским носом, но ее глаза, окаймленные резкими полосками бровей, дышали такой глубокой и неподвижной жизнью, черным холодным блеском воды, застывшей под мостом.

Я внул себе тотчас облик раздражающей, загадочной, полной противоречий красоты. Ее большие красные, как перец, губы, ее странно вздернутый нос, придававший ее лицу подобие морды животного, вызвали неясное представление о ее наготе, о скрытом аромате ее тела. Она сидела чинно, охватывая одно колено затянутыми в черные перчатки руками, слегка опрокинувшись на спинку дивана, и ее тонкие, нервные бедра стройно обрисовывались под платьем. Она перевела глаза на окно и стала, как недавно я сам, безучастно глядеть на однообразии равнин. Но теперь я бросал на нее украдкой взгляды, точно моя воля подчинялась какой-то властной силе, и не переставал исподтишка наблюдать за ней, со все разраставшимся беспокойством. Я не мог бы сказать, где уже видел ее, но, думалось мне, видел ее где-то несомненно. Наверное, эта двулика и угрюмая маска когда-то раньше запечатлелась во мне.

Моим рассеянными глазами сельские виды казались лишь неясными цветными узорами, подернутыми мутным туманом, я уже не думал об отце, и недавние печальные мысли исчезли.

Я мучился, тщетно стараясь вспомнить, когда именно и в каком месте я мог встретить эту женщину.

Через некоторое время она снова стала разглядывать меня, и я в свой черед перевел на нее глаза. Какая-то глухая мука, физическая боль овладела мной. Я почувствовал приближение хорошо известных мне мучительных приступов, стеснявших мое дыхание и предвещавших болезненный страх от близости женщины.

Ее глаза настойчиво смотрели в мою сторону. Она, казалось, тоже усиленно припоминала наше первое знакомство. Но сидела спокойно, откинувшись назад, окутанная темной таинственностью. И, наконец, мы стали просто и открыто глядеть друг на друга. Наши взгляды скрещивались, как руки. Была минута, краткий миг, когда нам вдруг показалось, что вот-вот сейчас мы ясно и отчетливо вспомним обстоятельства и обстановку нашей первой встречи. Но снова все погрузилось в мрак – и вновь мы стали чужими, незнакомыми, пришедшими с двух разных полюсов и расходящимися в противоположные стороны.

«Нет, – думалось мне, – я никогда не видал этой женщины. Я бы не почувствовал этой чуждости в тот миг, как встретились наши взгляды».

И вдруг почувствовал непривычное ощущение: быть может, я предвидел ее внутренним оком задолго до этого реального часа.

В зеркале будущего, вследствие какого-то чудесного отражения, всплывали неясные очертания чьего-то лица и становились туманным, ожидаемым обликом, который начинал выявляться и жить. Чей-то таинственный умысел правил этим случайным сочетанием, если вообще случаю отведено место в великой математике Вселенной. Ведь достаточно было бы нескольких минут, дверь купе могла открыться, и она навсегда исчезла бы из моей жизни или, по крайней мере, из той части моей жизни, когда внезапно предстала предо мной в конкретных очертаниях. Казалось, чья-то рука привела ее именно к тому окошку, за которым сидел я.

И снова ее глаза скользили по моим, как капли дождя по стеклу, и, казалось, им нечего было сказать мне. Небрежно опустила она вуаль и стала такой же неясной, как сама моя душа. И не сделала больше ни одного движения, стройно сидя на тряском пружинном диване, и только изредка взглядывала неподвижными, со скрытой жизнью, глазами, еще более потемневшими от черной тени вуали, – на освещенные вдаль сияньем пейзажи. Я ясно видел, что совсем не занимал ее.

Мимо нас промелькнула станция, утопавшая в грязи. И опять она подняла концами обтянутых в перчатки пальцев свою кружевную вуаль, как бы силилась вспомнить городок, который мы проезжали.

Я знал название этого городка, мог бы ей сказать. Но даже не пошевелил губами. Нервы мои напряглись, затянулись в узлы, как комья нитей, ибо снова заматались в круговороте моей памяти неясные догадки. Мучительно хотелось припомнить место и время, когда я встретил ее, – но никак не удавалось, хотя и был уверен, что все-таки видел ее где-то.

Мучительное состояние настолько сильно охватило меня, что я быстро вскочил с места. Я потянул за шнурок вентиляции и затем опустил шторы. Мои движения были быстры и беспорядочны. Я ясно не сознавал своих поступков. Пожилой господин рядом со мной стал слегка жаловаться на начавшийся сквозняк. Я принужден был закрыть вентиляцию. И только тогда дама в черном стала взгляды на меня как-то иначе, совсем по-другому, чем смотрела до этого. Она не выказала ни единым движением насмешки надо мной, хотя мое странное возбуждение могло бы ей дать к этому самый естественный повод. Только перевела свои спокойные глаза на мои, по-видимому, без всякого определенного чувства к болезненному молодому человеку, который, опустившись снова на сиденье с беспомощными, дрожащими руками, кидал на нее умоляющие взгляды.

И лицо ее было уже не тем, чем минуту назад, или, может быть, теперь я глядел на нее другими глазами. Мне показалось, что ее глаза безмерно расширились, как водный простор, когда взираешь на него с возвышенья. Я не видел уже больше странного, животного безобразия ее короткой приплюснутой морды, придававшей ей сходство с мопсом.

И, как пловец в обширном море, я метался на тяжелых плавных волнах, в беспредельных окружностях взгляда, который она спокойно вперяла в меня.

Необычайное колебание приводило в движение волны, расхлывшиеся кругом, подобно тому, как от упавшего камня сотрясается водная гладь. Я потерял всю мою волю, отдаваясь, застывший от оцепенения, этой убаюкивающей качке темных и ласковых вод. И в темном сиянии выплывало передо мною прекрасное женское тело, нагая, гибкая, как лиана, сирена, и, сразу, в одно мгновение одежды ее упали, и я увидел ее обнаженной в лучезарной наготы ее тела.

Я почувствовал, что глаза мои выступили из орбит, и стали большими, как луковицы. Ее лицо оставалось неизменно холодным, как будто она обдавала меня сумраком своих неподвижных, бездушных, как Стикс, глаз. Я не мучился больше, не чувствовал той сверлящей боли, которую вызывал во мне вид других женщин, ощущение пытки на раскаленном колесе, спицы которого вонзались в мои кости. Нет, я был трупом, увлекаемым потоком.

Поезд с резким скрипом буферов и шипящим звуком тормоза остановился. Кондуктора подходили от окна к окну и выкрикивали название станций. Я позабыл совсем, что это – тот самый город, где, тронутый уже дыханием смерти, человек ожидал меня.

Мне нужно было сделать усилие, чтобы вернуться к действительности. Наконец, я вытащил багаж из сетки и поспешно сошел на перрон. В то же время чья-то рука легла на мою, в которой я держал ремни моего сака. Я узнал одну из наших горничных. Глаза ее были красны. Она сообщила мне, что с моим отцом случился второй удар сегодня утром, и священник уже приходил причащать его.

– Скажите мне прямо, – крикнул я. – Он умер?

Она печально опустила голову, а я страшно побледнел и не в силах был заплакать.

Глава 16

У порога дома меня встретила сестра. Она обняла меня, слезы хлынули из ее глаз, и мы долго не выпускали друг друга из объятий. Но мой зять спустился из комнаты на носках: я его никогда не любил, ибо он отнял у меня Эллен. Этим он причинил мне первое страдание в жизни, и рана, нанесенная им, никогда уже не заросла. И в тот же миг горе мое исчезло. Я не знал, что сказать. Мне показалось, что вступаю я в этот дом чужестранцем, что только мое печальное положение принуждало меня присоединиться к общей горести.

Я тихо поднялся наверх по ступенькам, по которым уже никогда больше не будет сходить отец, вошел в комнату, смежную с той, где я спал мирным, детским сном. Занавески были задернуты и, как у трупа дедушки, горели в медных кухонных подсвечниках две восковые свечи. При колебавшемся свете этих чадивших светильников трепетали тени, и я увидел на розовой белизне покровов, доходивших до скрещенных для вечного покоя рук, восковую бледность бесконечно торжественного и безмолвного лица. Я услышал одну только фразу: «Как он прекрасен!» Это сказала сестра. Я опустился на колени. Теплый запах уже начинавшегося разложения спирал мне дыханье. И, припав губами к покровам, я зарыдал, словно вырвали из меня кусок моей жизни.

Быть может, я в эту минуту впервые почувствовал весь ужас священного таинства перехода человеческого существа в иной мир. Это неожиданное и грубое вторжение смерти в мой род нанесло ему брызнувшую красной кровью рану, как будто топор подрубил ствол дуба, одним из отпрысков которого был я.

Эту ночь я хотел бодрствовать с монашенкой и двумя горничными. Эллен, разбитая и измученная, кроме того, недавними родами, – была отправлена к одной близкой знакомой.

В эту минуту великой скорби, вызванной смертью, я любил ее, как духовное, но все же подверженное тленю существо, и предчувствовал, как вместе с ней исчезнет еще часть живого организма, каким была когда-то наша семья. Я прижал ее к себе, горячую от воспаленной крови, влажную и разгоряченную от слез, и она уже переставала быть женщиной, она освобождалась от тленных оболочек тела и становилась символом духовной красоты. Я чувствовал болезненную жажду умереть для всей чувственной жизни и вместе с тем томился тоской по вечной любви и мрачным наслаждением умереть за тех, кого я любил.

Около белой постели, ночью, среди тяжелого запаха воска, с которым уже разносилось тленье, всплывали образы: высокая, улыбающаяся фигура доброго сатира – деда, который шел рассеивать семена жизни в лесную дачу, – маленькая дикая Ализа в пламенной страсти своего тела – этот легкий призрак, окутанный сумраком вод. Она в объятиях моего сострадания снова стала ребенком, плакавшим сладострастными и траурными слезами о скорби своей уязвленной груди!

И тихонько проскользнула в моей памяти пухлая девушка, полная материнской ласки, Ева, желавшая посвятить меня в тайну, как непорочного Адама. Быть может, она умерла уже от ежедневного греха, от щедрой растраты своего цветущего и пышного тела служительницы наслаждений, баюкавшей малюток, как меня, на ложе своей груди!

Жизнь снова забила во мне. Я не чувствовал презрения к этой бесстыдной монашке, к неистовой Амбруазе, от которой шел такой едкий запах пота.

В сознании всплыли минуты, когда я блуждал глазами по проносившимся мимо пейзажам, а предо мной выступало странное звероподобное лицо женщины. И ее глаза глядели на меня, как бездны мрака, как озера с гибельными водами, как холодный брачный альков, где извивалось чье-то тело, подобное лиане.

Наступило снова мучительное напряжение всего моего существа. Я позабыл уже, что мой отец лежал там между двумя свечками в покровах смерти.

Пламя двоилось в моих неподвижно застывших глазах. Я видел только необычный нечистый взгляд случайной спутницы: где, когда впервые видел я эту женщину с собачьей мордой?

Воспоминания теснились во мне, незаметно всплывали знакомые черты. Мало-помалу мне стало казаться сквозь вихрь кружившихся образов, что я ее, несомненно, узнаю: у нее был злой, покатый, как у Ализы, лоб, животное непротивление греху пухлой Евы, большой, мистически чувственный рот Амбруазы.

Она была сразу всеми женщинами, которых я любил, и они все вместе – представляли собою Зверя.

– Зверь! Зверь! – кричал я в своей душе от нараставшего ужаса и омерзенья.

Предо мной воскрес собор, огромный, каменный вертоград со своим дьявольским муравьиным кишеньем, расписанный узорами утреннего инея, окрашенный в красный цвет умирающего заката. И словно при воспоминании о нем, как по мановению волшебного жезла, озарилась мрачным и ярким багрянцем лукавая любовница монаха – блудница с похотливой утробой и собачьей мордой, раскрывавшая свои объятия, обещавшие вечное осуждение. Я не сомневался больше, что именно эта блудница была предвестницей той, которая должна была однажды предстать передо мною.

Монашка, бодрствовавшая с нами, коснулась меня рукой. В ее руках была ветка самшита, омоченная святой водой. Между двумя молитвами она окропила покровы и теперь передавала мне ветку, чтобы и я в свой черед окропил крестообразно углы кровати каплями благодатного дождя.

И только тогда я вспомнил, что мой отец был мертв.

Глава 17

Я был свободен. Мог устроиться, как хотел.

К несчастью, мои воспитатели не научили меня жизни, как не раскрыли ни священной красоты моего тела, ни тех здоровых наслаждений, которыми оно могло дарить меня.

Мне говорили:

«Быть человеком – есть зло. Беги всякого искушения, которое может возбудить в тебе природа. Запрети себе всякое произвольное движение твоей внутренней жизни. Ты будешь в силах гармонически прожить ее лишь, если будешь считать низшими и гадкими органы, благодаря которым участвуешь в вечности Вселенной».

Позднее мне говорил отец:

«Я сделаю из тебя судью, ибо в силу священного характера магистратуры судья, как бы он ни был плох и распутен, облечен уважением людей».

Таким образом, внешние влияния заменили свободные проявления моего сознания. Я не пережил даже того состояния познания дикаря, первобытного лесного человека, который, желая узнать направление ветра, поднимает вверх палец. Ныне зверь, рожденный во мне из стыда к позорным органам, сжигал мою кровь, как пламя.

Оставшись господином своей судьбы, я продолжал испытывать на себе результаты ложного воспитания, которое низвело меня в разряд безличных существ. Я мог бы направить жизнь согласно своим наклонностям и этим вознаградить себя за лишения моего безрадостного детства.

Отец мне оставил достаточно наследства, чтобы я мог слушать своего внутреннего голоса, одних лишь личных побуждений. Но я без всякого интереса к тяжбам и договорам разных глупцов безучастно принялся изучать право.

Родительский дом достался мне пополам с сестрою. Я оставил его на попечение одной из двух горничных, именно той, которая знала еще моего деда и, казалось, сама составляла принадлежность этого дома в силу своей долголетней службы.

Я мечтал приехать сюда в один прекрасный день с молодой, умной и любимой женщиной – моей будущей женой. Эта мечта о безмятежной жизни вдвоем в уединенности небольшого городка родилась во мне снова в четырех стенах дома, когда меня коснулись мощные черные крылья.

И, однако, я наверное знал, что удар с моим отцом произошел на пороге дома с закрытыми ставнями. Какая, – увы, – ирония судьбы! Он считал своею единственною гордостью казаться серьезным и целомудренным человеком и вдруг его публично сразила смерть на той улице, которой избегали все порядочные люди. Таким образом, еще один лишний раз обнаружилось бессилье нашего рода противостоять гибельному очарованию женщины.

В городе недолго продолжалось мое спокойствие. Я видел ясно, что смерть близкого мне человека не сделала меня благоразумней.

Мне привелось однажды почти лицом к лицу столкнуться с моей странной спутницей. Она всегда была одета в черное, и ее лицо было скрыто под вуалью. Я не сомневался больше, что она жила в том же городе, где и я.

Каждый раз при встрече мы обменивались взглядами сквозь легкую дымку ее узорчатого кружева. И каждый раз эта женщина проявляла как будто интерес ко мне. Казалось, она относилась к случайности наших встреч, как к предвиденному и нестоящему внимания факту. Я же, наоборот, испытывал при этом какой-то магнетический ток, еще с большей остротой восстанавливающий мое прежнее болезненное ощущение.

Тяжелая, давящая боль и тоска угнетали мое сознание, как какая-то предопределенность, связывавшая меня в туманных тайниках моего существа с этой спутницей. Я начинал прихо-

доть к заключению, что у существ с повышенной чувствительностью нервные волокна как бы заранее предчувствуют неизбежный ход событий.

Время от времени я встречался с нею. И постоянно какое-то необъяснимое влечение заставляло меня следовать за ней до тех пор, пока случайное скопление экипажей или людей не скрывало ее из моих глаз.

Я попробовал было убедить себя, что все это какая-то тайна. Этим я пытался оправдать пред самим собой слабость своей воли.

Я никак не мог узнать где, в каком доме города она жила. Она оставалась для меня загадочным виденьем, которое выплывало из области неизвестного и снова затем погружалось в него бесследно.

Глава 18

Из загадочных сцеплений обстоятельств, помимо нашего сознания, возникают события жизни так, что мы оказываемся друг для друга простыми пешками в руках шахматиста, которого непреложный порядок заставляет осуществлять свои конечные цели. Мы не знаем, куда идем. Но вечные законы знают это, и мы не можем сделать ни единого шага, который не был бы predetermined заранее и не приближал бы нас к грядущим нам навстречу событиям. И все совершается очень просто, причем обстоятельства, от которых зависят наиболее важные мгновения нашей жизни, продолжают быть самыми ничтожными и едва уловимыми факторами, подготовляющими осуществление загадочной, конечной цели. И, однако, эти обстоятельства, эти факторы в своих бесконечных разветвлениях одни имеют только истинное значение, так как ничто не может произойти помимо них и все то, что происходит, выливается в почти одинаковые формы радости и скорби.

Нужна была болезненная наследственность моего рода, усиленная к тому же пуританским и лицемерным воспитанием, моя ненормальная идиосинкразия, страшные пытки и терзания при приближении всякой женщины, нужны были не только физические немощи, но еще и различные другие внешние причины – сразивший отца удар и мой внезапный отъезд, – чтобы эта женщина и я, никогда не встречавшиеся раньше, – разве лишь в случайных отражениях predetermined, – пришли в заранее условленный час и по различным путям на свиданье, которое, казалось, указано было нам судьбой. Самая обыкновенная и, однако, вместе с тем необычайная встреча столкнула нас лицом к лицу и мы не обменялись друг с другом ни словом. Однако, моими движениями руководила чья-то рука, хотя я думал, что совершаю их свободно.

Эта рука сплетала сеть моей судьбы.

И, покорясь велению судьбы, я порвал со своей теткой из-за ее мелочного и придирчивого характера, который с годами стал еще невыносимее. Это был, по-видимому, незначительный факт, но так как я вынужден был приискать себе другое помещение, то он получил в моих глазах решающее значение в моей жизни.

Когда я переносил свои книги и чемоданы, составлявшие все мои пожитки, в свое новое помещение, на площадке лестницы я столкнулся лицом к лицу с моей незнакомкой. Я почувствовал, как забилося мое сердце. Она первая легким кивком головы поклонилась мне. Я ни за что бы не переступил порога этого дома, если бы уже не перенес часть своих книг и чемоданов. И все-таки это еще вопрос: я вернулся бы снова сюда, ибо именно здесь должен был раскрыться мне смысл моей жизни.

И, так как она старалась протиснуться между чемоданами, я извинился, выразив удивление встретиться с ней при таких обстоятельствах.

Она не высказала ни малейшего удивления. Сказала мне спокойно со своей бесчувственной маской на лице:

– Это вполне естественно. Я снимаю помещение над вашим.

Так мало пришлось сделать этой женщине, чтобы завлечь меня. А я уже принадлежал ей со всей дикой яростью моей страсти.

Ничто не могло быть менее романтичным, чем эта встреча. Вся ее таинственность заключалась лишь в тех подготовительных обстоятельствах, которые сделали ее неизбежной. Я проник в жизнь этой женщины так же фатально, как сама она появилась в тот час, когда я отправлялся к моему отцу, покоившемуся между восковыми свечами. Нами обоими руководили события, приблизившие нас друг к другу и ставшие господами нашей жизни.

Глава 19

Однажды под вечер (это уже был третий вечер со дня моего переезда) Од прошла мимо моей двери. Я обыкновенно выходил из своей комнаты лишь после того, как слышал, что она сходила по лестнице, и потом уже и сам спускался на улицу. Она не обижалась, что мои шаги раздавались позади. Шла она, стройная и корректная, не оборачиваясь, походкой честной мещанки, останавливаясь у витрины то того, то другого магазина – и затем входила в церковь.

Но в этот вечер легкий стук ее каблуков тихо замер у моей двери. Не знаю, почему дверь моя не была заперта. Од, казалось, решила на этот раз переступить порог моей комнаты.

Мы до этого времени перекидывались лишь незначительными фразами без всякого отношения к любви. Я говорил с ней только один раз. С тех пор наши уста были немы друг для друга.

Мне стоило только незаметно толкнуть дверь и вслед за тем я захлопнул ее на замок, ибо Од уже вошла.

И было, как будто она уже раньше приходила ко мне. Здесь, как и на улице, мы сначала не вступали в разговор. Она смеялась своими большими алыми губами, оглядываясь вокруг себя, и смех ее не производил большего шума, чем крылья вампира под сводами развалин.

Я уже дрожал всеми своими членами от внезапно охватившего меня желанья. Я дрожал, как в тот день, когда тупой Ромэн отдал меня на попечение пухлой Евы. И позабыл теперь, как завладевают женщиной. Перед ней я чувствовал себя девственным юношей.

Никакого вступленья не было. Од обвила меня руками вокруг шеи и стала всасывать губами мои уста, как – Ализа и Амбруаза.

Но едва ее грудь прижалась к моей, она пробудила во мне бешеную страсть с таким мастерским искусством, которым ни Амбруаза, ни маленькая дикарка не обладали.

Она сжала мои губы своими и долго держала их так, словно хотела, как из плода, всосать в себя их сок. И потом короткими, маленькими глотками, как каплями расплавленного инея, как огненными кусочками льда, влила мне в горло свою едкую слюну. Ее жизнь вошла в мою, вся вечность жизни, все сокровенные соки ее тела.

Она перестала смеяться. Я закрыл глаза, чтобы слаще испытать этот чудесный напиток, как маленький ребенок с жадностью сосущий молоко из белой женской груди.

Я не видел ее, отдавшись безмолвному наслаждению, но знал, что она смотрит на меня. Сквозь опущенную ткань ресниц я чувствовал, как утопал в необъятных волнах – в застывшем блеске ее взгляда. Ее холодный рот с легким хрустом тающего под лучами солнца снега впивался в мой, и сама она теперь впивала ледяную воду моей жизни.

В эти безумные минуты ни Од, ни я не обмолвились ни словом. Мы прижались друг к другу изо всех сил. Края ее корсета впивались в мою грудь, и я чувствовал, как под ним сжимались ее упругие груди.

Послышались короткие вздохи и яростный крик боли. Огненные змеи обвилились вокруг ее стана, железные гребни вонзились в мои позвонки, и я захрипел.

И оба мы вдруг упали, словно бросились с высокой башни вниз. Я не знал еще ее имени, но обладал уже ею. Она лежала как мертвая, отдаваясь своему наслаждению. Когда мы покоились еще в объятьях друг друга, я спросил ее, полный трепета и обожания, – кто была она. Она ответила мне:

– Я – Маод, но меня зовут просто – Од.

И голос у нее был хриплый, как в момент любовной спазмы. Она ласково перебирала мои волосы своими неестественно горячими и нежными, елейными, как у мироносиц, руками.

Вдруг снова она засмеялась.

– Раньше я была замужем. Теперь я вдова. – Она произнесла это так странно, без гордости и насмешки.

Я никогда не слышал такого смеха. Он, как стилетом, перерезал мои нервы и оведал, словно бальзамом сна. Я не знал, почему она так загадочно смеется своими немymi губами. Она смеялась беззвучным смехом маски, как отраженное в зеркале изображение. И вдруг вслед за тем замолчала. Но я, объятый пламенем ее жизни, жаждал ее познать. Мои слова и руки скользили вдоль ее тела. Хотелось узнать, почему она пришла к молодому человеку.

Она не смеялась больше, пристально глядела на меня своим тяжелым и неподвижным, как вода колодца, взглядом.

– О, – сказала она мне, – ведь вы сами не пришли бы первым.

Мне с первых же мгновений хотелось называть ее на «ты». Казалось так тепло и приятно от этого слова, словно я знал ее давным-давно. Но она, несмотря на нашу близость, была со мною, как с чужим.

Я крикнул ей из глубины своего существа:

– Я ждал тебя, Од! Знал, что ты придешь!

Ее руки перестали играть моими волосами, и снова я почувствовал на своем лице ее губы.

Поцелуи наши длились ночь и часть следующего дня.

Так открылась мне моя судьба и все-таки я не понимал еще – почему у этой женщины была собачья морда.

Какая простая и несложная вещь – жизнь! Через степи и бесконечные саванны тянется прямой лентой тропинка, хотя и кажется, что она изгибается местами. Шаги взрослого человека оставляют на ней те же отпечатки, что и шаги ребенка. Думают, что жизнь меняется – однако, всегда человек остается тем же – крошечным отражением Вселенной, тяготеющим к иным существам, согласно неизменным законам бытия.

Од поступила так, как поступали все ее предшественницы. Все они появились в известный час, все они родились под разными созвездиями и, тем не менее, все они проявляли одним и тем же способом свою волю, которой покоряли мою. Но первые были только предвестием одной высшей воли, которая не должна была никогда покинуть меня. Все вместе они составляли знаки моего Зодиака.

Но, если бы Од не пришла после других, – я, может быть, продолжал бы жить, как отшельник, укрепляясь в целомудрии. Она как бы выступила из недр темной тайны, пришла из-за граней жизни, из неясных глубин предопределения, и с этой осужденной сестрой я претерпел свои искушения святого Антония.

Глава 20

Од была для меня в первые же мгновения тем, чем и осталась впоследствии. Она оставалась неизменной, как мелодия скрипки, которую дивный артист бесконечно варьирует. Она не переставала быть женщиной с собачьей мордой – совершеннейшим символом Зверя, единым и бесконечным, и мне казалось, что я узнал ее однажды, но потом никогда уже не видел ее такой, как в тот миг.

Месяц спустя Од обнажалась не больше, чем в тот день, когда впервые вошла ко мне и сбросила с себя одежды. Стыдливости она не знала, как юная Ева на заре первых дней мира. И, вместе с тем, это была та же самая женщина, которая на улице шла, опустив глаза, с требником в руках.

Вне дома она была, как все другие. В ней было даже больше религиозности и благопристойности, чем у большинства женщин. Но, казалось, как будто она совсем не знала, что грешила. Как только с нее спадали одежды, она становилась другой женщиной, которую сама не знала и в которой обнаруживалась жестокая красота. О, – эта женщина была гидрой и козерогом и вместе всеми кривляющимися животными из дьявольского каменного леса древнего собора!

Од часто приходила в мою комнату. Она входила в нее, как пришла в первый раз, медленной благоговейной поступью с лицом усталым и угрюмым. Она напоминала жрицу, появившуюся во время обряда. И была гораздо красивее в своем неземном облике, придававшем ей сходство с Судьбою. Она обвивала меня руками вокруг шеи, схватывала своими губами мои уста. И отдавала мне свое тело. А я ей возносил пламенные молитвы. И засыпал ее тело алыми розами огненной страсти.

Я служил свои мессы, как юный левит, распростершись перед ликом Девы-Тьмы.

Мои порывы человека, долго пребывавшего в воздержании, становились мистическими. Они увенчали мои томительные ожидания. Они подтвердили, что женщина не только простое орудие из мускулов и нервов, доставляющее наслаждение, она – нечистый цветок смрада жизни, живой символ древних обетов, заключенных в чреве Евы. Од была той именно женщиной, которая была для меня предназначена. И я отрекся от своих прежних увлечений, чтобы посвятить ей всецело свою покорную страсть. Мое обезумевшее тело возносило Песню Песней единой любви. Я был тем, кто на рассвете по расцветающим виноградникам идет трепеща к черной Суламифи.

Од только смеялась своими большими немymi устами, рдевшими, как створки раны. И мне начинало казаться, что ее душа была так же пуста, как и глаза.

Как-то раз я сказал ей:

– Моя дорогая Од. Если – надеюсь я – ты меня любишь, вырази мне это как-нибудь иначе, чем поцелуями. Я до сих пор едва лишь уловил твой голос.

Она извернулась, как раненый острым камнем червяк. Вскинула руки и закрыла ими лицо. И сказала мне с искренней болью:

– О, о, не спрашивайте меня об этом. Я вам даю только то, что имею.

Я не мог сомневаться, что она испытывала истинное страдание, и сам я чувствовал себя подавленным, как будто упомянул о том, что было нам запрещено.

Од в это время лежала рядом со мной.

Как будто говоря ей о любви, я еще больше обнажил ее. Она, не зная стыда своего тела, закуталась вся страданием в тот самый миг, когда я коснулся своим любопытством таившегося в ней стыда, о котором ни я, ни она не подозревали.

С жестокой настойчивостью я обратился к моей возлюбленной:

– Од, милая, дорогая моя Од! Видишь, как я люблю тебя: ты приворожила меня и вот, даже ценой моего вечного спасенья, я не совершу ничего, чтобы сбросить с себя твои чары. Но я заклинаю тебя, разожми свои губы, скажи мне только лишь слово, один вздох в поцелуе.

И она резко повернулась лицом к тени спущенных занавесок, погрузилась на мгновение в сумрак, сквозь который едва брезжил утренний луч, как будто даже болезненная бледность дня была нестерпима для ее страдающей души.

И вот я услышал ее жестокие слова.

– Не думай, что я люблю тебя потому, что с нами случилось это. Я не полюблю никогда никого!..

Я почувствовал, как мучительно разбилось мое сердце от раненой страсти. И зарыдал, как ребенок. Я сжимал ее руками, покрывал ее груди поцелуями и слезами.

– Умоляю тебя, – вскричал я, – не говори этого! Отдалась ли бы ты мне, если бы меня не любила?

Она сказала мне просто, смеясь своим беззвучным, как крылья вечерней птицы, смехом:

– Не знаю.

И как будто раздумывала. Разглядывала меня своими застывшими глазами, как черный горный сланец. И продолжала своим ласковым и грустным голосом, в котором не было любви:

– От тебя веяло таким девственным благоуханием, вот почему я и пришла к тебе.

Она сжала мой рот своими устами и влила в него слюну. И снова великий трепет смерти скорчил все мои суставы. Од снова была изумительной жрицей любви.

Около полудня она вышла из моей комнаты со спокойным выражением на лице. А я лежал на ложе любви, умирая от испытанной страсти.

Глава 21

Я не задумывался ни на одно мгновение отказаться от такой гнусной жизни. Од была рабыней проклятого искусства. Знала все дьявольские хитрости наслаждения. И изобретала всевозможные новые ухищрения, чтобы возбуждать мою пресыщенность. И, однако, вполне сохраняла репутацию добродетельной мещанки. Она вращалась в небольшом кружке порядочных дам. И мужчины относились с почтением к ее мнимой вдовьей одежде. Эта смесь извращенности и порядочности возбуждала мое болезненное сладострастие и придавала ей в моих глазах еще более ценности, как украденной вещи, как сокровищу оскверненного храма.

Она никогда не соглашалась показаться со мной открыто на улицах. Даже наши встречи обставляла таинственными и мелочными предосторожностями.

Однажды под вечер она со смехом попросила меня проводить ее за крепостной вал.

Я не понимал, почему она смеялась.

Некоторое время она шла впереди меня по безлюдной местности.

Один за другим замирали последние колокола городских церквей.

Она взяла меня под руку и увлекла в густую чащу леса. Я чувствовал, как вздрагивали ее бедра среди окружающей темноты. Моя душа содрогалась от какого-то внезапного волнения, предвещавшего любовь, подобно тому, как листья деревьев содрogaются, когда под низко нависшей тучей среди необъятной тишины пронесется порыв бури.

Близость ее тела делала меня совсем больным.

– Побудь немножко за этим деревом, – странно сказала она мне.

И исчезла. Я слышал только шелест ее платья по пышному моху.

Она вернулась через мгновенье, нагая, величественная в своей гордой под звездами красоте, как дочь первобытной земли, как лесная нимфа сказочных вод.

Для меня это был неведомый обряд, благодаря ночному часу и таинственности окружающей природы. Я сам был юношей начальной поры мира в невинный, чарующий райский вечер.

Мне казалось, что я еще ее не знал. Я ступал по лесу с вздувшимися от желания жилами, чую сквозь любовное опьянение запах тварей.

Словно я выбежал из шатров моего племени, обуреваемый страстью, как ловец добычи. И вдруг в млечном сиянии звезд предстало предо мной существо с белоснежной грудью, затканное разметавшимися шелковистыми волосами.

Томительное, небывалое очарование охватило меня при виде первой женщины, вышедшей тоже из своего шатра на дорогу любви под медленный трепет листы.

Так приобщила меня Од к новой красоте, среди которой я стал вдруг неведомым для себя человеком, где почувствовал я себя слившимся со всею жизнью Вселенной, с блеском метеоров, как в ту пору, когда люди ходили нагими и не ведали городской жизни.

Я понял, что она была потомком женщин – животных, косматых, горячих животных, сестер лесных зверей, к которым в брачный час стекались первенцы моего поколения. Она была собакой и волчицей вблизи болот, призывавшей самца к любви грустным рычаньем, с жгучей жаждой страсти.

И от всего этого в этой ночи леса меня объял священный ужас, первобытная поэзия человечества, изменившая мои мысли престарелого культурного человека так, как будто с этой поры я никогда не должен был краснеть за наготу природы и ее созданий, как будто я уже проник в глубь корней, в самую тайну человечества.

Прекрасная и вечная, как сама телесная любовь, – мать потомства – ступала предо мною Од в голубом трепете ночи.

И прижав поцелуем к ее груди, к ее густым волосам я впивал благоухание жизни. От нее пахло землей, лесной росой, ароматом коры, одуряющим мускусным запахом зверей, подобным прелой болотной тине.

И я обвил ее руками, как будто то была сама земля.

Глава 22

Позднее я понял, что она могла любить только самое себя. Она любила себя сквозь призму любви к ней мужчин, бесчувственная к их страсти, поклоняясь единственно себе самой. Все мы были только зеркалами, в которых она созерцала себя в богатом убранстве красоты. Она обладала своими любовниками, не отдавая им себя всецело. Ее тело было невыразимым великолепием для нее самой. Наружно отдаваясь мужчинам, она хранила внутри себя гордое одиночество.

Наверное, природа, лишив ее красоты лица, хотела умерить дерзкую и чудодейственную красоту ее тела. Иначе она не была бы под стать нашему времени, которое потеряло гордое упоение блеском наготы.

Цветок зреет пригреваемый только небом и колеблемый ветром. Чтобы нагулять мускулы и кости, обильную, гладкую шерстку, звери купаются в соках, в солнце и в пространстве. А девственное тело человека томится и чахнет, как узник в темнице, с детства скованный отвратительным воспитанием, лишаящим его необходимого воздуха. Молодая лошадь, собака, лесной волк, пасущаяся на поляне телка являются более совершенный образ красоты, чем женщины в гинекее, купальнях, в местах, где они раздеваются.

Это сравнение невольно приходило мне на ум, когда я созерцал великолепное тело Од и представлял себе изумленную клинику телесной немощности и уродства, зрелище пороков и изъянов, огромные валы искривленных тел, наводняющих улицу, украшенных, как пышная рака с мощами, но скрывающих под нею рыхлые и приплюснутые груди, сухую, бесплодную, несмотря на притирания, кожу, худые изогнутые ноги под грузными, отвисшими боками, жалкие вздутые, изрытые животы, припухлые желваки и наросты, уродливость ног и рук. А Од могла сбросить свои одежды в любой момент и предстала бы безумно прекрасной с головы до пят, как символ, как величественный Кумир. Самые высокие требования гимнастического и хореографического искусства, казалось, воплотились в чудесной ритмичности ее движений и форм, словно состязалась она на ристалищах с прекрасными эфебами, была одной из канефор на торжественных шествиях в честь Цереры, воительницей – мимой на дионисийских празднествах с тирсом и копьем.

Она пришла однажды и развязала свой пояс. Я увидел, что концы груди ей она раскрасила алой краской.

То был второй месяц нашей любви. С некоторого времени я ощущал в себе упадок сил.

Под этим красочным рисунком, напоминавшем цвет металла и рубинов воинских доспехов, с ее пылавшими, как факел, ореолами персей, она казалась мне в моем угнетенном состоянии искусительной Омфалой, царственным великолепием жгучей Далилы, зардевшейся от крови мужчины.

Под узким челом Од хранила упрямое и лукавое очарование Зверя. Она обладала мастерским искусством возбуждать остывшую страсть. Она была чародейкой, пускавшей в ход бесчисленное множество колдовских средств. И я отлично знал ее ужасное могущество и все-таки любил ее со слепым раболепством. Я был рядом с ней, как первобытный, косматый предок, в котором бродили соки безотчетных инстинктов Зверя.

Так перед первым человеком предстало соблазнительное существо: Женщина, раскрывшая свое тело соком плодов.

Он не узнал ее сначала. Она засмеялась, раскрыв свой рот, как плод, и тогда он нашел, что она гораздо красивей так, чем в обычной своей наготе. И оба они извели опьяненье, которого не могли им доставить соки деревьев.

Од пришла ко мне со своими раскрашенными персями, как Ассирийская Царица, и в тот же миг моя кровь запылала.

Она сознавала свою власть надо мною и коварно промолвила:

– Теперь ты весь мой, ты мой в крови твоих жил, потому что кровь эта – Я.

Я не знал, какой таится в этом смысл. Я весь затрепетал, и этот трепет был знаком и доказательством ее обладания мной.

Мне представилось вдруг, как при звуке этого беспощадного слова одну за другой вырывали все нити моих нервов. Жизнь моя разбилась на мелкие куски, и я лежу на раскаленной решетке, под которой раздувает полыхающие угли этот свирепый вампир в облике женщины. Но я не ушел, не побежал через города и селенья, как объятый пламенем человек, спасаясь от пожара.

Од доставляли удовольствия эти игры. Она выдумывала другие, как убранство для своей красоты, как обновление для своей радостной гордости.

Однажды она сбросила с себя плащ, который окутывал ее всю, и предстала нагая в лучезарном сиянии, в пламени и крови, переливавшейся игрой драгоценных камней. Она легла на постель и блистала жемчугом и золотом.

Перед этим она мне рассказала, что все свои чудные украшения и богатство получила в наследство от одного родственника. Но никогда не надевала на себя этих украшений. На ней не было ни одного камня, который бы нарушал однообразную простоту ее одежд.

И вот вдруг, словно кумир, она опоясала свои ноги и руки браслетами. На пальцы ног и рук надела кольца. Ожерелья из крупных камней, оцеплявших ее груди, изливали струи багряных слез. Из тайника ее любви, из лепестков цветка могучей жизни сиял сумрачным блеском сапфир, подвешенный на тонкой, прозрачной нитке и выглядывал, словно чей-то глаз из глубины пещеры.

Она расплела свои волосы, и под их черными волнами скрыла свое лицо. И отдавалась в убранстве своей красоты, как прекрасная жертва, как тело без лица, как невиданный символ торжествующего могущества плоти.

В застывшей крови этих самоцветных камней, в яростном блеске драгоценных металлов, подобных подземным огням – она была живой святыней Астарты.

Од прижала руки к концам своих груди и выгнулась вперед всем своим телом. И молчала. Я не видел ни губ ее, ни глаз. Она застыла так в священной неподвижности, зачленела, как мертвая, под переливчатым миганием изумрудов и рубинов, скрывшись в сумраке своих волос, под которыми вздрагивало лучистым и пышным заревом ее тело с пылающей бледностью кожи, подобно глыбам белоснежных лилий среди озаряющих огней.

И вновь я был сражен этими изобретательными чарами, разнуздывавшими во мне яростно алкавшего зверя. Я умер в эту ночь великой смертью наслаждения и любви. Соски моих груди пылали, как нарывы, пронзаемые раскаленным острием шпаги. Все дышало во мне сладострастием и жизнью.

Какие богини Сирии, какие дочери Ваала, подмешавшие свою кровь к крови ее предков, или какие неведомые догадки научили ее античным литургиям и неразгаданным чудесам сладострастных жертвоприношений? Она знала тайну священных танцовщиц, мрачное искусство баядерок Индии, изведавших оцепенение от опиума, близкое к смерти, – она обладала ужасным ядовитым средством возбуждать к радости тела, созревшие в грехе гаремов. И ночью в лесу она была дикой Сильфидой, женой лесных богов, приносящей в жертву жестокою невинностью своей обнаженной силы. А я как будто долго-долго спал и вдруг проснулся от запретных заповедей возле сестры, вышедшей из мрака храмов.

Утром Од закуталась в свой плащ и ушла. И не сказала ни слова.

Тогда меня постепенно охватила странная мысль. Мне показалось, что Зверь столь же мистичен, как и Ангел, и оба они являются двумя разными, одинаково вечными сторонами мужчины.

Эта Од в своей ледяной страсти, в суровой замкнутости своих экстатических судорог – была не более, как монахиней из монастырей самой низменной и оскорбленной любви. Она родилась во время финикийского Библоса, из крови Адоная, Загрея, Атгис-Сабаса, и потом стала жрицей черной Мессы со своим телом, распятым на вилообразном камне.

Я думал:

«Вначале мужчина и женщина были вместе прекрасным, девственным, священным животным в нагой красоте Любви. Но Зверь на своем челе носил знаки муки и отчаянья. Он весь был обрызган слезами и получил нечестивое крещение в пылающем капище Молоха!»

Увы! – лучезарная Эллада, когда ты отреклась от благородных символов, олицетворявших силы Бытия, – уже с востока прибрежи чахлые тени религий. Взгляни, – с каким глубоким раскаяньем плачут над ранами Назорея очи блудницы Магдалины. В тот миг пробудился Зверь, ужасное чудовище мрачных веков, не ведавшее великой радости Эллады. Зверь еще раз снова выполз из склепа мученья на ясный свет. Он рычал и бичевался, и упивался наслаждением под покровом великого мистического мрака. И у него тогда оставалось только одно спасенье – склониться в обожании пред Девственностью в целомудренном символе непорочной Марии.

С этой поры природа была поругана Культom о воздержании, ставшим отныне единственным вечным владыкой верующего человечества, более сильным, чем любовь и живое божество минувшей эры.

Будь же отныне покрыто позором некогда божественное тело, участвующее своими чувствами в жизни Вселенной! Познай же муку тайной любви к себе самому в грехе! Бледней от сладострастного ужаса при мысли, что валяешься на смрадном ложе Зверя!

И я был девственным, боготворил Марию и отвергал красоту плодоносного изобилия жизни. Но – тело возмутилось и отомстило. Я отдался во власть Зверя, и он меня не покидал больше.

Глава 23

Од посвятила меня в такие вещи, которые нерасторжимо спаяли нас, как двух соучастников преступления. Она ввергла меня в бездну своей плоти, погрузила в сумрачный блеск, ледяные наслаждения своего тела, подобного кипящему подземному Эребу, пылающему серой озеру Стимфалу, населенному зловещими птицами, пожиравшими падаль. Од была суккубом, погружавшим мой мозг в леденящее безумие любви.

Ничто не оскверняло так любви, как эта пародия любви, и все же мы были крепко связаны друг с другом цепями, выкованными из нерасторжимого металла.

Никогда не говорила она мне о других мужчинах. Мы были привязаны друг к другу с постоянством самых нежных любовников, хотя любовь для нас была бесплодной, спаленной страной, садом смерти с ядовитыми плодами, от которого отпрянули бы в ужасе праведные элизейские тени.

Однажды Од исчезла на довольно продолжительное время. Никто в доме не знал причины ее отсутствия. Накануне мы провели более ужасную ночь, чем все предшествующие.

Теперь это вынужденное одиночество разъедало меня, как яд. Я решил, что она меня обманывала. Словно кипящая смола снесла меня ревность, вдруг воскресившая прежние видения. Несомненно, Од была где-нибудь этим самым садом сладострастия, куда яростно врывалась похоть. Все ночи напролет меня дразнили отвратительные образы вождения, как картины Гоморры. Я не мог думать ни о чем другом, как лишь о том, что она удовлетворяла свой неутолимый голод и жажду на других позорных ложах. Моя душа была загрязнена вплоть до влаги слез, которые одни сближали меня с общим горем всех разлученных друг с другом существ.

И вот однажды она вновь также тихонько распахнула дверь, прижалась своими губами к моим, и никогда с тех пор ни я, ни она не упоминали уже об ее таинственном исчезновении.

Я плакал рабскими слезами. Все мое тело подчинилось ей вновь, как покорный лев с подточенными клыками. И снова ее ласки вливали в меня потоки расплавленной лавы. Я утопал в красной смерти ее поцелуев. И ни единым намеком не выразил ей упрека и гнева.

Еще лишний раз убедился я в том, что рок сковал нас обоих цепями и ввергнул в темницу плоти.

О, коварная и пустая женщина! Пока алмазный меч Архангела не отсечет твоей головы – до тех пор ты будешь все тем же маленьким созданием наслаждений и искушения, украшающим себя венками из цветов, опоясывающимся браслетами, и в вихре пляски разливающим благоухание своих туник! Сотканная вся из половых и элементарных чувств, ты хранишь сокровище девственной животности. В противовес мужчине, существу мыслящему и метафизическому, ты соприкасаешься, благодаря бесконечному множеству чувственных, осязающих и всюду проникающих нервов, – со Вселенной, с извечными стихийными силами, с первоисточниками бытия.

Тысячелетия, которыми ее героический товарищ воспользовался для быстрого развития, едва извлекло ее из замкнутого круга рабыни супружеского ложа или из круга ее сестры – свободной куртизанки.

Она живет со своим хрупким, детским умом, забавляясь любовью, драгоценностями, цепочками, хитростями, бессознательная, лукавая и жестокая. Сквозь течение веков она хранит в себе знаки Эдема и запрещенного плода. Всегда она вечно юная Ева с неистощимой и периодичной, как луна, утробой.

Она – визгливая обезьянка из страны Нод, закутанная в шерстку. Она кусается своими блестящими в смехе зубами. Когда она, отрешаясь от своих чувственных наклонностей, перестает быть маленькой дикой женщиной лесов, как Ализа, явившаяся мне у берега вод, – то

лишь для того, чтобы вступить в гарем или монастырь хранительницей огня, который вспыхивал страстью, как это случилось с покорной рабыней любви, носившей имя Евы или с пылкой Амбруазой, называвшей меня своим маленьким боженькой.

Или она бежит на Шабаш ведьм, опьяненная своей гибелью и гибелью мужчин, обрушиваясь за вековечные оскорбления мстостью на презренную любовь, изъязвленная и слепая исполнительница неведомого ей деяния! Кто она – этот выходец из мировых мятежей, трагичный, загадочный, роковой, передающий вместе со своей отравленной кровью – безумие и предлагающий своему несчастному другу насмешку навеки потерянного счастья. О! я узнаю тебя, кошмарное виденье, загрязненное нашими извержениями, забрызганное нашими следами, тебя, нежная сестра неискупленного греха, коварная и спасительная сестра нашей мучительной тоски о нереальном! Ты явилась мне в маске пса с пламенным спокойным лицом Од!

О, красота заклятия! О, искупительный обман! Даже в проклятии ты приносишь в жертву свою любовь мужчине. Ты отдаешь себя на заклятие и первая проглатываешь отравленный напиток.

Как мог я иначе знать женщину, раз познал ее в четырех видах? Все они впивались в мой рот с одним и тем же животным движением губ. Все они вызывали во мне образ маленькой, похотливой, притворной женщины, которая с сотворения мира повторяла одни и те же жесты.

Вначале их было три: три женщины и три греха. Потом пришла Од, и она была всеми грехами вместе, олицетворением всего предназначения женщины. Од шла нагая под пологом ночи среди леса, Од плясала передо мною свой танец Саломеи, Од сделалась весталкой моей извращенности.

Я ловил себя в минуты отдыха на том, что изучал ритмичные изгибы и движения ее тела, невидимые ей самой. В каждом ритме скрывался фатальный и вечный смысл. Они внушали мне смутные догадки об ее предках. Ее прабабки, вероятно, обладали этим узким, сотканным из инстинктов черепом баядерок или нечистоплотных рабынь, – этим покатым лбом тупых, похотливых животных. Но гордый, царственный жест, с которым она откидывала назад густые пряди своих волос, подобных руно, изобличал в ней державность и власть.

Она часто, скрестивши руки, поднимала их над своей головой, словно цепи и лианы, с покорным и усталым движением, и этой коварной пластичностью она умоляла и повергала ниц своего свирепого владыку. Ее твердая, медленная, задумчивая поступь превращалась в легкую, припрыгивающую походку, в танцующий, вкрадчивый шаг салонных девиц. Она вызывала в памяти актрис-комедианток, исполняющих искусственный замысел, усталых после жатвы деревенских девок и монашенок, бредущих на трапезу.

Она любила меха, металлы, беспечную негу, любила в истоме сидеть на коврах, обхватив руками ноги. Ко мне приходила она в тяжелых золотых браслетах на каждой руке – этим бессознательным символом минувшего рабства. Ее кожа изливала острые ароматы, напоминавшие гвоздику и шафран.

Ей нравилось раздирать бутоны роз и обрывать лепестки гвоздики, которыми, словно сплошным красным слоем, покрывала она свою грудь или осыпала под собою постель. Потом собирала их в горсти и с диким сладострастием втягивала ноздрями еще хранившие теплоту ее тела лепестки цветов.

Эта прекрасная Од очаровывала меня, когда с кошачьими и плавными изгибами своей спины, словно извиваясь кольцами, она выгибалась назад, как будто оглядываясь – не потеряла ли чего-нибудь позади, или высматривала – нет ли опасности или – словно молила о любви. Всякая женщина, изучив себя в воде фонтана или в отражениях зеркал, приобретает эту возбуждающую подвижность бедер, обещающую счастье и отраду.

Вот где кипит непобедимая природа, как в тигле вечных сил, как в горниле пламени творенья. И даже самка в мире животных со своими гибкими движениями знает их власть, так как в них проявляется и выражается чувство жизненной силы. Но Од движением своих форм

могла бы привести в неистовую ярость жеребца. Она была подобна резвившейся кобыле, гибким и свирепым тигрицам, охваченному мрачной страстью зверю в чаще леса. От этой женщины исходили странные, усыпляющие испарения, какая-то расслабляющая и сладострастная притупленность, как при головокружительном, захватывающем дух спуске в шахту. И порой со своими детскими движениями, от которых сверкали и звенели на ней браслеты, со своим прирожденным бесстыдством, пустым умом, визгливыми вскриками под пышной завесой своих волос – она была лишь маленькой женщиной-ребенком, полуживотной Евой на заре мира.

Я долго думал, что она меня любит. Но каждый раз, как я хотел узнать у нее об этом, она делала такой вид, словно ее вели на пытку под заунывный погребальный, звон.

И Од говорила мне с мучительной тоской и сумрачным видом:

– О чем вы говорите? Между нами и этим нет ничего общего. Пожалуйста, не надо никогда говорить об этом.

Быть может, так томятся души в чистилище, искупляя прародительский грех.

Глава 24

О ее прежней жизни я не знал ничего. Никогда она не рассказывала мне о своем прошлом. Она делала вид, будто никто другой раньше не был для нее тем, чем теперь был я. Однако, я знал, что она была замужем. Раз она мне об этом сказала и больше об этом уже не было речи, как будто свое замужество она считала весьма незначущим эпизодом в своей жизни. Но порой мне приходило на ум, что ее уста, сжимавшие мои тисками губ, целовали другие уста, которые затем навеки онемели.

Ее муж, как упившийся виноградарь, умер у подножья виноградника. Он с неистовством пожиал виноград. Он поедал целыми пригоршнями алые грозди и умер от них.

За ним – другой открыл свою дверь. Она сбросила с себя одежду. И он также изведаль смертельный яд ее слюны.

Она не понимала, кто был первым, кто последним. Я пришел к ней и заблеял, как ягненок за дверью мясника, желая тоже войти вслед за вереницей вошедших баранов. Она поцеловала меня в губы, и я был уже отмечен знаком, как другие.

И, однако, она ничего не сообщила мне. Ни одно воспоминание не выплыло из глубины ее жизни. Казалось, отдавалась она впервые, как будто прежде не существовало для нее, как будто до меня она была девственницей. Обманывала ли она самое себя или притворялась, что забыла минувшее? Закрывает ли она глаза на образы, отражавшиеся в зеркале ее души? Она была еще более ужасной в своей чудесной способности оставаться для самой себя неведомой. Воспоминания скатывались с поверхности ее ума, как вода с просаленной кожи. И возле нее я был как заснувший человек, которому никогда уже не суждено пробудиться.

Од должна была представляться странной загадкой для всех, которыми была любима, и небывалой причиной ужаса и страха! Ее душа для них, быть может, как и для меня, была только едкой слюной, которую она влила в их уста. И, может быть, душа ее ничем другим никогда не была? Все они умерли в великой пустыне ее любви, как затерявшийся на беспредельной равнине путник, чьим зовам и крикам никто не внимал. Все они взывали среди безлюдной степи, и она не ответила им... О, скольких бесплодно призывавших ее истощила она.

Она показалась мне другой женщиной, трагичной и жестокой в символе своей вдовьей одежды. Она была вдовицей с глазами без слез, набожно перебиравшей косточки четок. Эта таинственность некоторое время мучила меня, мой покой нарушили ужасные виденья. Сумрак жизни Од был устлан мертвецами, грудой ныне истлевших любовников, которые в часы греха дрожали в ее объятьях.

Ее роковая красота была погостом роз над древними гниющими останками! Я страшился этой труженицы, работавшей для смерти. В горниле ее утробы истлевало все человечество. Все вокруг нее дышало заразой смерти. И я терзался великой мукой ревности и жалости к этим бледным призракам, которые навсегда останутся для меня неведомыми. Они, как и я, надеялись на ответную любовь и умерли от того, что ждали ее до скрежета и корчей.

Долго не осмеливался я раскрыть ей причину этого нового страданья. Ко однажды мне удалось заговорить с ней на эту тему, и я стал с притворным равнодушием выспрашивать ее о моих предшественниках в ее любви. Она вдруг принялась смеяться, сжимая мои губы своими, и запечатлела их молчанием. И я чувствовал себя с тайной этих уст на моих устах, как в глубокой могиле, которую придавил упавший камень.

В этот день я больше не возобновлял разговора. Ей было достаточно скрепить мои уста пламенной печатью поцелуя, чтобы тот же час рассеялась моя тоска.

Но через некоторое время я снова стал спрашивать ее о любви к ней других мужчин. Она опять засмеялась и приблизила свои губы, чтобы и на этот раз связать их молчанием. Но я знал, что если хоть капля ее жгучей слюны попадет на мои уста, всякое мужество оставит меня.

Я отвернулся. Тогда она схватила руками мою голову – чтобы возбудить во мне страсть. Я укусил ей от злости шею. Маленькое пятнышко алой крови окрасило подушку. И я вскричал:

– Назови мне имена всех, кого ты любила. Скажи мне, скажи, Од, я этого требую.

Я глядел на ее толстые, как пиявки, губы. Но она вновь спокойно смеялась, несмотря на рану, с немой дрожью своих губ. И побледнела вдруг, как полотно. Промолвила только, взглянув на меня ужасными глазами:

– Их было слишком много. Я не помню всех.

Пухлая Ева, по крайней мере, утешила бы меня нежными словами. Теперь я был в ужасе от того, что сделал и что мне сказала Од. Я почувствовал немое оцепенение перед животной, безжалостной силой, слепым могуществом любви и смерти.

И мы молчали так несколько мгновений. Потом я нежно смыл с ее шеи кровь и тихонько прошептал:

– Прости!

Она снова засмеялась и произнесла так странно, так неумолимо:

– А все-таки ты всецело мой до самой крови твоих жил!

Этот зверский похотливый крик, отдававший спальней и бойней, приговорил меня бесповоротно, как скотину, из-за которой вышел спор между пастухом и мясником.

Я ужаснулся сверхъестественному безобразию, которое придавала ей уверенность в своем могуществе. Но ничего не нашел промолвить ей в ответ, ибо в этот момент я почувствовал себя в самом деле тем, чем были для нее те другие. Кровь во мне остановилась. Теперь я принадлежал ей еще сильнее, благодаря ее ране, благодаря маленькой алой капельке крови, словно я напился ее жизни.

И больше я не начинал с ней разговора о тех, которым раньше отдала она свою любовь.

Од вымолвила правдивое и ужасное слово. Она обладала мной до самой крови моих жил, до мозга моих костей, до самых тайников моей животной природы с того самого дня, когда я впервые изведаль пламень ее поцелуя. Я должен был жить отравленный во всем своем существе душистым, тонким ядом. Она совершала лишь то, что раньше проделывала с другими. И в этом заключалось ее трагическое величие.

В эту пору душа моя еще боролась и не была лишена благой вести, как это – увы – случилось позднее. Эта Благая Весть, полная целительных благовоний и мирры, могла бы спасти менее болезненного юношу. Она навещала меня временами и пыталась умастить язву, снедаемую внутренним огнем, от которого я сгорал. Она ободряла меня и удерживала от нового падения, увы, – лишь на слишком короткое время. Я становился снова чувствительным существом, которого могла бы еще исцелить духовная близость, ласки и утешения.

Противодействия, заключенные в божественной части человеческого существа, обладают бесконечным терпением и требуют лишь некоторой помощи от доброй воли.

Глава 25

Мне случалось вести с Од разговоры, касавшиеся не исключительно страдания, которое обнаруживалось в моей крови своим живым, разъедающим присутствием. Я говорил ей с обманчивой надеждой, что она может понять мою глубокую жажду избавления.

Так и однажды, после чтения одной книги, пробудившей во мне потребность взаимных излиятий, я поведал ей печальные дни моего детства, лишенного любви и ласки. Одно лишь родное ласковое слово могло бы загладить все несправедливости жизни по отношению ко мне.

А она только спросила, какая женщина в первый раз пробудила во мне чувство любви.

Я рассказал ей историю с Ализой, и воспоминания о ее жертвоприношении кололи мне сердце, как будто между мной и Од встала мертвая девочка со своею тайной на губах. Од терпеливо выслушала меня и только, когда я кончил, сказала, смеясь:

– Ее надо было бы повалить в траву.

Ромэн сказал бы то же самое.

В это мгновение я почувствовал тяжелую боль, словно своими руками она грубо разодрала саван, в котором спала моя лесная возлюбленная. О, я слишком хорошо знал ее похожий на немую судорогу смех, выходящий из неизмеримых глубин ее природы, подобно тому, как на поверхности водоема лопаются пузырь воздуха в том месте, куда кто-то упал, чтобы вновь никогда не показаться.

Она принялась смеяться.

Я не могу сказать, чтобы в этом скрывалось какое-то злостное намерение, хотя она причинила мне ужасную боль, как будто внутреннюю красоту моего существа раздирали зубья бороны.

– О, она была лучше всех Од вместе, – сказал я ей с грустью. – Пощади хоть эту неведомую муку, которая довела ее до смерти.

Но она, казалось, не понимала меня.

Вскоре я позабыл об этом. И порой, как-то странно чувствуя, что душа моя жаждет выздоровления, я высказывал ей мои чистые взгляды на жизнь и природу. Перед ней я был как наивный юноша, который глядит на отражение небесного сияния в глухо журчащем ручейке, – но в тот же миг недобрый смех взмучивал песок в блестящей капельке, где мелькнул внезапно отблеск небес.

Я наивно мечтал приобщить ее к моим духовным интересам – читать ей стихи поэтов, произносить прекрасные, певучие созвучия, ласкающие слух и полные тоски и муки, в которых слышится биение общего горя. Но она своей насмешкой или ненавистью, или не знаю еще каким проявлением грубой надменности зверя парализовала мои душевные излипания. Своды неба обрушивались на меня, увлекая за собой. И я понимал на том расстоянии, которое разделяло нас, какую я выкопал пропасть между своей душой и собой самим, отрекаясь от божественной ясности высшей духовной жизни. В эти моменты просветления я презирал ее с такой Силой, что казалось вполне естественным, если никогда больше уже я не коснусь поцелуем ее губ.

И все-таки – стоило ей только сжать мой рот своими устами, как я не чувствовал уже больше ужаса. От огненного жара ее крови меня сковывало немым оцепенением, как маленькое животное, попавшее в чудовищные лапы. У меня появлялась жажда покорного и добровольного заклания. Я забывал все свои идеальные упования и отворачивался от самого себя, как от обетованной, но навсегда потерянной земли.

За мгновениями наших наслаждений следовала страшная расслабленность и мрачное утомление, когда мы чувствовали себя далекими друг другу, словно на двух противоположных берегах ледяной земли, и вблизи этой женщины, презиравшей мою душу, душа моя униженно

рыдала, разбитая постоянными припадками мимолетной чувственности. После таких минут и ее охватывало безмерным оцепенением животного. Долго, долго лежали мы, как трупы, – как будто только на краю пропасти узнали друг друга с искривленными от ужаса лицами. В годы детства, в дни уединенной любви я не чувствовал себя более одиноким.

Я сказал ей однажды.

– Ты пришла, Од, и я любил тебя. Но я не узнаю тебя никогда. Разве это не убийственно грустно? Я гляжу на тебя, ищу тебя в глубине твоих зрачков и не знаю, какая ты женщина? Я жажду тебя, и ты не напоишь меня. Я стучусь в твою дверь, и ты не откроешь мне ее. Нет ни одной женщины прекрасней тебя, но ты неживая.

Я взял руками ее лицо и пылливо впился в ее зрачки. Я погружался в ее взор, как в колодец, но ничего не было на дне его. Глаза ее казались чуждыми ей, и она была самой себе – чужая. Ее пышное тело пламенно вздрагивало, как тучная земля, как колосья полевых злаков под полуденным зноем августа. Румяные потоки струились в могучем течении под слоем прозрачной кожи и вздымали ее перси. Ее волосы, разливавшие благоухание свежей ежевики, хрустели, как тернии под лучами солнца, как косматые гривы деревьев, охваченных огнем. У нее были глубокие и темные недра тучной нивы, и сама она была – смертью, подобно древним немым лесам каменноугольного периода и горным сланцам рудников.

Од была рассадником дурных образов, похотливым каменным виноградником, лозы которого перевивали паперть собора. Я вступил в этот сад, опустошил наливные гроздья: их едкая кровь извратила меня. Но страстно хотелось вкушать жизнь у груди Од, как ребенку. Я сказал ей:

– Од, ты, может быть, только уснула – проснись же, пора, проснись, чтобы мне узнать – кто ты?

И у меня в глазах стояли детски-доверчивые, грустные слезы: я не был уже отважным юношей, который под вечер идет в лес, стучит по деревьям и громко взывает: «Если есть кто-нибудь в этом месте, я сумею заставить его помериться силой со мною». Нет, теперь мне хотелось только быть среди прохлады свежего ручья в дикой таинственной чаще. И я долго ласкал ее, называя моим недугом, заглядывал в глубину ее глаз – не проскользнет ли, наконец, в них искра жизни. Но она только ласкала меня своими воздушными руками.

Был вечер. Весенний ветер, прохлада сумрака врывается к нам в раскрытое окно вместе с ароматами далеких садов. Мое юное безумие могло бы растрогать камни, иссякшие фонтаны заставило бы забиться блестящей струей. О, если бы только одна слезинка оросила ее ресницы!

Какое-то томление сглаживало в нас всю нервную возбужденность нашей любви. Она вздохнула. Это было чудным моментом страдания и надежды.

– Од, – промолвил я, – не откладывай так долго ожидаемого слова. Все доверие мое трепещет во мне и преклоняет колена пред тобою. Никогда ведь не наступит больше такого мгновенья. Скажи мне, кто ты, дорогая Од?

Она казалась подавленной, как существо в преддверьях Рая. Словно какая-то бессознательная тяжесть, как глыба мрамора и металлов, придавила ее и не пускала. Словно кариатида поддерживала она гору из песчаника и кварца. Мне показалось, что она тоже сейчас заплачет. Я не знал еще, что слезы, божественные слезы суть навеки запретные пределы тупой бессознательности Зверя.

Соки ее жизни готовы были хлынуть наружу, но снова застыли. Она словно боролась с судьбой. Сумраком заволкло ее глаза. И, словно с другого берега, она проговорила мне.

– Не спрашивай меня ни о чем. Не знаю сама – жива ли я?

Надвинулся мрак. Между нами раздвинулась пропасть. И еще раз почувствовал я, что потерял ее.

Старые, внутренние, горькие раны раскрылись. В моем безвольном существе на мгновение разразился взрыв против бремени оков и бессилья порвать их. У меня, измученного и

испорченного, этот взрыв был лишь обманчивой мечтой освобождения. Чувство божественно прекрасного на краткий миг озарило топкое болото, где истлевала моя душа, лишенная своей первоначальной, невинной красоты. И снова она погружалась в болото, падая с небесных высот. Я страдал оттого, что презирал себя сильнее еще, чем презирал ее, и все еще любил ее, если это слово не оскорбляет любви.

Ненависть была более откровенным проявлением нашей извращенной страсти и связывала нас сильнее, чем любовь. Я устраивал грубые сцены, несправедливые с моей стороны, бросал ей оскорбления или глупо упрекал ее за мою погубленную жизнь. Од отвечала на это только своим беззвучным смехом. Она обладала тем превосходством надо мной, что умела казаться нечувствительной к этим бурным взрывам, после которых я еще больше подчинялся ей.

Но я был, как человек, отравленный дурным вином, губительным соком винограда. И теперь, когда отведал ее жизнь и испил ее соленой крови, я чувствовал в порыве гнева какой-то едкий вкус во рту. Я хотел бы сделать ее ответственной за мои заблуждения и тем оправдаться перед самим собой.

Прошло уже два года, как я знал Од.

– Ну и прекрасно, – сказал я ей однажды, – мы разойдемся.

Она ответила.

– К чему? Ведь все равно вы вернетесь ко мне.

И поглядела на меня своим спокойным сумрачно-глубоким взглядом без иронии и без гордости.

Я тут же натянул ремни моей воли, как молодой бык под тяжестью груза. Неведомое тайное Посредничество уверило меня в моем освобождении, если только я найду в себе силы уехать. Я приготовился уже к долгому странствованию. Но в конце пятого дня, лишь только спустилась ночь, пошел к ее дверям и постучал.

Никогда я так не жаждал ее прекрасного и проклятого тела!..

Глава 26

Однажды ночью в таинственном полумраке алькова Од рассказала об одной поре своей жизни, единственной, которую я должен был знать. То были нежные, невинные годы – период половой зрелости. Жила она с набожной, строгих правил матерью в холодном доме, куда часто заходили духовные лица. Голоса были глухи, как при совершении таинств. Отворялись двери при входе смиренных слугителей Бога и бесшумно захлопывались.

Отец ее умер молодым. Ей вспомнилось грустное лицо, уже подернутое сумраком смерти. Смерть любимого человека сделала мать преждевременной старухой и окутала тайной, как всех тех существ, которые, потеряв вкус к жизни, живут с вечной думой о смерти.

Она никогда не ласкала девочку. И детство ребенка прошло в тусклых сумерках заточенья под присмотром старой, придурковатой служанки, заразившейся также набожностью. Только священник твердил маленькой девочке о правилах веры и жизни, постоянно упоминая как бы мимоходом о грехе.

Долго она не знала себя. Глядела через окошко, как играли маленькие мальчики, но к ним ей было запрещено приближаться. И она не думала даже, чтобы они были устроены иначе, чем она.

Но вот однажды ее детские груди стали округляться. Ей стало стыдно за такое неожиданное и обезображивающее явление, которое нужно было скрывать, и, которое, быть может, и было тем знаком греха, о котором ей говорил священник. Она стала глядеться в зеркало. Ей было приятно ощущать свое молодое тело. А потом ее раскаянье прорывалось в одиноких потоках слез.

О, моя Од, – ты, как и я, инстинктивно поняла, что твое прекрасное тело дано тебе для радости, а ты испытывала к нему один только стыд, как к чему-то презренному! Ты ужаснулась, когда твоя кровь забурлила росой под твоей кожей, когда она зарделась от того, что ты познала свой пол.

С тех пор догадки стали томить ее. Ей думалось, что и у мальчиков такая же грудь, как у нее. И она не переставала больше думать о красоте, которую и они скрывали под одеждой. Но наступившая половая зрелость ошеломила ее, как гром. – Она стала терзаться, что поддавалась слабости и любви к своей плоти. Она исповедалась, жаждала смерти с тоской наслаждения, полная мрачных порывов. Это случилось в пору ее исповедания, которое казалось ей таинством, полным восторженной красоты и слез, и сама она походила на маленькую святую. Она готова была растаять от любви и страха, когда ей вручена была священная облатка.

Но пришла весна. Мучительные сновидения стали терзать ее. Она была лишь маленьким, девственным животным, которого томит желание осуществить свое назначение.

Однажды утром она увидела сквозь деревья сада в доме на противоположной стороне, как раз против своего окна, раздевавшегося мужчину. Природа пробудилась в ней. Она сбросила рубашку и подняла занавески.

Ее мать отдала ее в пансион при монастыре. Почти все ее сверстницы испытывали то же, что она, и скрытно продолжали этот тайный грех. Несмотря на бдительный надзор добрых сестер-монахинь, между девочками завязывалась дружба, нежная и страстная, как любовь. Они всегда находили случай забраться в чашу парка, окружавшего монастырь. Взрослые воспитанницы во время прогулок делали друг другу странные признания.

Од рассказала подругам, что открыла занавески пред мужчиной. Они стали завидовать ей. И порой, во время игр, то одна, то другая, нарочно старались упасть как бы нечаянно так, чтобы обратить на себя внимание садовников. И, смеясь, Од сообщила мне, что страстно старалась развратить их всех. Я спросил ее тогда – сознавала ли она зло, которое совершала? Ока поколебалась мгновение и промолвила:

– Я их презирала – я любила только себя!

И вправду, Од никогда не любила никого, кроме себя.

Вот все, что я узнал о ее жизни. Когда мне хотелось узнать, кто был у нее первый, она ответила мне просто:

– Об этом вы можете думать, что хотите!

Итак, тот первый остался для меня навсегда неведомым счастливецом.

Од, проклятая сестра моя! Словно с самого детства мы были связаны печальной судьбой общих страданий. В твоём маленьком девственном саду, как и в моем, были опасные дорожки, где мы блуждали, объятые страхом неизвестного, где дивная природа ужасала нас, как лик греха. Если бы истинный смысл жизни нам был раскрыт, быть может, я не знал бы тебя такую, какой ты предстала предо мною, и не была бы коварной супругой, назначенной мне роком в мои свинцово-тяжкие ночи. Ты пришла со своим бронзовым челом, которое в прежние дни покрывали хлопья боярышника и, как два ночных злоумышленника, мы отдавались страсти, позорящей любовь.

А может быть, – кто знает? – ты стала бы нежной невестой, со священной радостью идущей навстречу здоровой, брачной любви, если бы варварское презрение к природе не убило в корне зародышей естественных чувств.

Од ребенком не разнилась от Евы светлого утра Эдема и от всех дочерей, вышедших из недр Евы. Все они с лаской касались своих персей и только те, кто не ведали, что называлось грехом, спаслись, ибо единственное спасенье – в невинности. О, чистота невинного тела!

Но вот однажды увидел человек свою наготу и пал. Природа лишила его шерсти животных, чтобы он не знал, где завершилась чарующая тайна его наготы.

Как мне, так и Од, говорили:

– В недрах тела твоего бушует змий. Да пребудет он твоим вечным ужасом!

И мы увидели себя нагими, и невинность погибла.

Довольно, я молчу, я грежу.

О печальная душа моя, быть может, эти тайные мысли твои об Од неверны? Быть может, она не походила на всех других молодых девушек, как ты хочешь здесь себя убедить? Быть может, юное тело, вспыхнувшее девственным огнем, как только рассеялся чад аскетических речей, обладало уже с детских лет такими утонченными исключительными чувствами, что, казалось, было создано из более горючей материи, чем плоть других девушек, поздно созревающих для любви.

Глава 27

Я не подразумеваю под образом Зверя телесное существо человека. Зверь не был в Эдеме. Он родился в поколениях, потерявших невинность.

Когда я увидел Ализу под деревьями, я уже не был больше невинным ребенком. Зверь пробудился во мне, как желанный грех. Она была ближе к природе, чем я. Если бы я поддался своему желанию, быть может, я пошел бы опять к реке. Дикий маленький зверек доставил бы мне суровые и безмятежные удовольствия, научил бы меня простому наслаждению, которого никогда уже я не изведаль.

Порой неотвязчиво и ярко всплывает передо мной деревенский пейзаж. Я ясно вижу домик близ реки со своей молочно-белой штукатуркой, светлой черепичной крышей. Узорные разводы выделяются на его восточном фасаде.

Проходят мимо люди, справляются о чем-то. Через открытую дверь виден образцовый порядок, уютный вид комнат.

Медленно выбивают стенные часы, отдаляя срок смерти. Лари полны прекрасным хлебом – запасами для будущих посевов.

Вот возвращается с реки моя дорогая Ализа, деятельная и настойчивая, как работница. Вода струится серебристой пеной по ее рукам. Она уже не маленькая, худенькая и грустная девочка, больно укусившая мои губы. В ее взгляде – мягкость зеленых равнин, плавность текущей воды, лазурь небес, отмытых дождем.

Я подхожу к порогу, гляжу на поля. С людьми я в мире, и ничего мне не надо, кроме этого смиренного счастья.

Од никогда не переступала за плетень этого сада.

Мелькает рой милых сердцу образов. Дед не выходит за чашу леса, живет вблизи поселка, полный любви к земле и ее простой жизни. Когда он заходит в домики, женщины чувствуют в нем сильного и доброго хозяина. Он сажает их к себе на колени, и они, очарованные, ласкают его.

Он был сеятелем на ниве жизни. Он так же был близок к природе, как пастухи и дровосеки, как рыбаки на берегах пустынных вод, как бык на просторе полей, как звери, блуждающие при луне вокруг своих логовищ. Он приголубливал доверчивых красивых девушек, зрелых женщин, весну и осень лучезарной плотской любви. Он был отцом Ализы.

Благословенный великан счастливой поры земли! Твое простодушное сердце дрожало, как тучный луг, окропленный росой, как борозда нивы в час посева. Половое сближение для тебя было лишь милым приключением, как и для древнего сильфа, бродившего под кущею деревьев, высматривая добычу. Ты вмещал в себя всю мифологию лесных нимф и похотливых сатиров, опьяненных виноградным соком августовского зноя! Я не последовал твоему уроку самца.

Однажды разверзся зеленый лесной вход, и смерть приложила костлявые пальцы к устам любви. Я узнал Эдем лишь, когда ушла оттуда Ева.

И был я печальным и бледным ребенком, измученным незнанием самого себя. Меня научили стыдиться своего тела. Я знал лишь, что нужно бояться природы. И вот вступил я однажды в зеленый вертоград и пил студеной, жгучий, хмельной сок. А зверь притаился за золотыми, кровавыми гроздьями. Он сделал мне знак, распустил свои длинные пряди волос, и я погрузился в колыбель из пуха и шелка.

Теперь ты можешь, ненавистная Од, топтать меня ногами, выжать всю жизнь из меня до последней капли. Я отведал смертельный сок и не покину тебя никогда. Рассеялись милые сердцу виденья – домик с белыми стенами, священный мир счастливой жатвы, благословенные

поля, где промелькнула в грезах Ализа. В скорбном саду сравнялся с землей могильный холмик, и нет уже на нем следа от ее маленького дикого тела.

Зверь! – вот где терновый венец и крестные страдания! Вот губка, смоченная желчью! Я ранен до судорог смерти.

Вне его пределов лежит царство нежной и дорогой природы, требующей послушания и зовущей нас к брачному единению, царство божественного порядка, идущего своей чередой, как журчащий ручей, как речной поток среди гор. Красота вселенной осуществляется в обрядах непосредственной, прекрасной любви, и эта любовь отражается в зеркале вод, простирается под необъятным приветным небом, она есть покорная подчиненность созданий закону жизни. Она в самой себе содержит свои цели и не хочет ничего иного, кроме себя самой, исполняя тем предназначения Бога и Бытия.

«Любите себя в существе вашем. Утишайте в нем зной вашего пламени, пламенный очаг, пылающий в средоточии твари и мира. Тот же закон любви гармонически управляет вселенной, и человек – только образ, в котором отражается красота вещей. Но да не будет тело телу бесплодным ухищрением, извращающим смысл любви. Но да будет оно, как вода, выполняющая бессознательно свои цели, как луга до пастьбы, когда лишь один пастух знает, что они расцветут. Да не соблазняется оно необычными ухищрениями и не терзается мукой познать себя за теми пределами, которые указал Я в саду наслаждений! Ибо это ведет к ужасному одиночеству, полному зубовного скрежета».

Так вначале говорило Слово. И состарившийся человек стал презирать девственную, согласную божественной воле любовь. Нарушив мир гармоний, он погрузился в кипящую тину. Из недр бытия возродился хаос – создание ада, бесформенная масса крови и огня, рычащее первоначало, созданное нечистой силой. Разверзлись кратеры, хлынули, извергаясь потоками, лава и шлак, чтобы снова расплавить первоначальный слой.

Целыми скопищами происходили беспорядочные сочетания, и люди уже не глядели на небо. Любовь рычала, как бык, хрюкала свиным рылом с заплывшими от похоти глазами, задышалась от бешеной козлиной случки. В своем безумстве человек отверг торжественные и нежные объятия, восторженный взгляд увлажненных очей, сияние уст, озаренных улыбкой. Любовь перестала быть браком двух человеческих существ среди цветов и ручьев, глубокой радостью чувствовать себя вечным и божественным среди гармонии сфер, среди хвалебных, звездных песнопений – образом великого, полного счастья, созвучья вселенной.

И человек, коварный и скрытный, как она, искал ночи, когда душа не видит души, когда блуждают печальные, раненые призраки. Его мрачное безумие сравняло его с немymi тварями, заставило передразнивать их нечистоплотные объятия, дикую ярость созданий начальной эры жизни, лишенных красоты человеческого облика. Изморенный голодом бессильного незнания, человек захотел увековечить страдание и сладострастие и спустился в бездонную пропасть. Сам для себя он стал чудовищным сеятелем во мраке бесплодных бездн.

Затерянные вдали друг от друга на крайних, противоположных полюсах самец и самка тщетно искали друг друга и не находили. Каждый из них вкушал угрюмый, одинокий ужас любить только самого себя в приступах немой и безумной судороги. В порыве бешенства эта нечеловеческая любовь задушила себя своими же собственными руками и воцарилась, как смерть, в пустыне.

Мы слишком преувеличиваем животность любви льва, шакала, похотливого ягненка. Они спариваются согласно природе. Бессознательно ими руководят робкие и благоговейные эмоции. Они сплетаются в величественном порыве. Их рев ужасен только для нас, а между тем из нашей груди он рвется с гораздо большей яростью. Они просто внемлют природе. Никто из них не унижается до человека, которого они все вместе заключают в зародыше, и даже самые свирепые из них невинны: никто из них не убил в себе любви.

Человек – Зверь, опустившийся до сходства со львом, шакалом и ягненком, не имеет, однако, их девственного и дикого величия. Неистовый инстинкт жизни сталкивает людей даже, когда сама жизнь является смертью. В недрах Зверя самодержавно царит истребление: всякое половое сочетание – это бойня, где две божественные души убивают себя. Любовь, соединявшая их с блеском и гармонией Вселенной, разбита. Эти души – лишь гальванизированное вещество, неясное, судорожное трепетанье пережитков первобытной жизни.

Я сознавал это ясно в светлые минуты, следовавшие за сумрачным, кошунственным наслаждением. У меня оставалось какое-то прогорклое ощущение, точно, целуя уста и грудь Од, я целовал саму Смерть. Мне казалось, будто я вырвался из могилы, из пронизанной сыростью обители скорбных теней. Мое лихорадочное и ослабевшее тело словно хранило в себе холод пребывания под землей. Напрасно питал я надежду, что мы погрузились в самые недра единой субстанции, – нет, в действительности, нас разъединяли еще большие океаны. Од становилась для меня причиной ужасной одержимости и томящей жажды, как будто, чувствуя ее вдали от себя, я все же знал, что она не покинула меня, срослась с нитями моего существа и вращалась в круговороте струй моей истощенной крови.

Я терзался невозможностью уйти от нее, необходимостью скова ее желать. Мне следовало бы вступить на путь покаяния, в безлюдную пустыню. И с немощной душой, до конца претерпевшей, мне надлежало погрузиться в холодную купель очищения в безмолвной обители траппистов.

Но я отлично сознавал, что, убегая от нее, я буду оглядываться назад, по какой дороге скова к ней вернуться. Я дал себе клятву зажить где-нибудь далеко за городом, и вдруг мне вспомнилась сказанная ею фраза, которая точно замуровала меня в каменный склеп!

– К чему? Ты все равно вернешься?

Моя сила, как иссякающая кровь, струилась из разверстой в недрах моего существа раны.

И я потерял свою детскую веру. Я не верил больше в божественное покровительство небес.

Глава 28

Я познал во всей полноте мучительную беспомощность, когда душа, взвившись на мгновение ввысь, снова свергается в бездну. После бесполезной борьбы я с тупой покорностью погружался в сумрак своей души и изведывал сладость чувствовать себя порой утопающим. Как усталый путник во время грозящей смертью переправы, я уповал уже на избавление и был рад лучше погрязнуть в тине стоячей воды, чем заботиться о сомнительном и мимолетном спасенье.

И теперь я чувствовал только порывами, какой ласковой добычей сделался я для червей, порожденных во мне пагубной любовью.

А в былую пору юношей плакал я искренними слезами об Ализе к со свежей, общительной душой проходил мимо окошек молоденькой девушки, вышивавшей узоры. Душа моя еще не умерла в то время. Ее раны были легки и излечимы. Проклятое лезвие, омоченное в крови Зверя, не вонзилось еще в ее недра. А теперь душа моя пребывала во мне как необделанный предмет, которого исхлестали яростные волны и разъела ржавчина.

Между тем как юная и животворная любовь преломляется бесконечной игрой лучей, как прекрасное небо, как спокойная река и цветущий луг – бесплодная усталость тела выражается всегда одним и тем же образом. Это тусклая, подавляющая монотонность напоминает испепеленную, сухую страну, которую не освежает ни один ручей и сжигает лишенное света солнце.

Я жил в свинцово-серой, мрачной ночи, в серном и удушливом, как раскаленный зной, воздухе, едва чувствовал, что умираю, и не было во мне больше силы бороться.

А в природе ликовала жизнь. Порхал легкий ветерок. Песня бытия раздавалась в лазурном утре. Мне стоило только толкнуть дверь. Я ведь тоже был одной из сил, одним из символов мира, одним из проявлений разлитого всюду ликованья.

Я сошел бы на улицу, слился бы с общим кипучим весельем.

Смех цветущих, полных сил женщин разносил благоухание гвоздики. О, от этих я бы убежал!

Я знал, какое горькое наслаждение обещают их уста. Но были среди них и женщины с бледным челом, как та, что целыми днями шила у окошка. Там были девственницы, омраченные вечно тщетной надеждой.

Но я потерял смысл жизни и смысл любви. Я не любил больше женщины. Я был нерадивым рабом, привязанным к жернову, и неистово вращал его, а он раздавливал меня под собой.

Нет более яркого признака уничтожения мужчины, чем это состояние, которое испытали также и другие. Словно погасло всякое проявление жизненной Силы, трепет полового чувства, нежное волнение при виде красоты. Даже самые верные любовники испытывают какое-то жгучее ощущение, когда мимо пройдет другая женщина, как будто огненный метеор промчался по своду неба.

Мужчина невольно возносит хвалебные гимны ритмическим движениям представшей Евы. Он трепещет, как первый человек пред девственницей Райского сада. Но, пораженный, я не мог уже воспрянуть и возродиться из истребленного огнем праха.

Одна она – злокозненная колдунья – обладала чарами снова вызывать мое тело к жизни. Как только сжимала она мои губы своими, я тотчас же позабывал, что ненавидел ее. Если бы она приказала мне пробраться в алтарь кощунственной ночью и осквернить святой хлеб для жертвоприношения, я умастил бы движенья мои зорким лукавством, чтобы совершить это святотатство.

Ее поцелуи превращались в жгучие розы и ледяные струйки и уничтожалась всякая надежда на противодействие, если бы я даже был на это способен. Ее соки вливались в меня, поглощали меня потоком коварных ласк.

Наш первоначальный договор, скрепленный огненной печатью поцелуя, возгорался живым огнем, расплавляя печать в кипящую жидкую лаву. Я сросся с ней с этого мгновенья, как прирастает к раскаленной решетке кожа мученика. Мои сокровеннейшие нервы разрывались. А я оставался все тем же человеком, которого призывы других женщин не могли пленить.

То были сверхчеловеческие праздники, когда наше наслаждение длилось без конца, когда при помощи все новых, неустанных пыток, она возбуждала мои неподатливые, уставшие силы. Еще задыхавшаяся, изнуренная, она воскрешала меня своими спасительными хитростями и коварными нежностями, подобно тому, как воскрешают в растворе соли издыхающую пиявку. Ее бледность, отдававшая свинцово-серым оттенком, одна свидетельствовала о разьедающем опустошении от чрезмерного наслаждения. В ее безумной страсти было, казалось, больше расчета, чем увлечения. Похотливый огонь, плававший под этим точно изваянным телом, не раскалял мрамора, не разрушал неприступных твердынь. Во время наших битв она облакалась в неузвимую броню непобедимых амазонок.

Я думаю, что некоторое время моя здоровая натура еще боролась во мне с подобными опустошениями. Ведь и дед до конца расточал семя на ниву человечества. И однако под старость он был могучим дубом, в котором каждую весну струились обновленные, зеленые соки. Не знаю, как я не умер от неистовой страсти, когда смерть скрежетала зубами в лязге моих челюстей.

Позднее пресыщенность и усталость внесли в нашу страсть некоторое успокоение. Мы стали искусственно умерять эти крайности. Мы расстраивали замыслы смерти хитрыми уловками, благоразумно оттягивали ее наступление, подобно тому, как невоздержанные чревоугодники подвергают себя диете в промежутке между пирами.

Но тогда обладание друг другом было для нас еще ново, и мы вполне отдавались ему. Мы не насытили еще Зверя, не завершили всех его проклятых обрядов. Наш голод возрастал от вечной ненасытности и неудовлетворенности, хотя мы думали, что достигли границ наслаждения. Оно, казалось, не имело конца, и, переступив последнюю преграду, – касалось смерти.

Обычная любовь с ее брачным поцелуем и безыскусственной красотой, все же отражает безмерную глубину небес. У нее одно лишь движенье, и она едва его знает. Она не знает всего того, чего не хочет знать душа, и погружается в вечность, повергается к подножию Бога. Греховное желание, опьяненное стремлением познать себя и превзойти плоть, еще сдерживается ею и не врывается в блаженную невинность, которая есть счастье чистых любовников. Она подавлена мукой оттого, что надеялась разгадать последнюю загадку и обрела лишь призрак.

В промежутки приступов меня охватывало оцепененье, какая-то одеревенелая безжизненность. Мое тело застывало мертвое, как и душа, в густой и блестящей адской лаве. Я мог бы уснуть навеки, не увидавши перед концом сиянья высшего пробуждения. Я больше не чувствовал невыразимого подавляющего покоя, который раньше испытывал после утоления жажды вместе с гордостью удовлетворенного желанья.

Эта успокаивающая ложь не облегчала более моего угнетенного состояния. Я был как грузный бык с растерянными, дикими глазами под колотушкой бойца. Я мог только унизительно оскорблять Од. Я забыл свое достоинство до того, что стал упрекать ее за мое бессилье. Нелепые и яростные слезы набегали мне на глаза и иссыкали у ее уст.

И снова сжимала она мои губы своими. Жалкий любовник был еще раз завоеван для мимолетного мига безумья.

Глава 29

Я лишился памяти. Нестерпимые удары, не переставая, стучали мне в голову, острые шипы бороздили спинной мозг.

Однажды я ссудил деньгами молодого врача, благодаря чему он мог устроиться в городе. Я послал за ним, и он не замедлил прийти.

Навязчивый страх смерти после частых приступов сковывающего ужаса и сладострастных видений вызывал теперь во мне ненависть к Од и ко всякой любви.

Врач без труда понял причину моей болезни, прописал мне воздержание и сильные подкрепляющие средства.

Но присутствие Од под одной кровлей со мною действовало на меня угнетающе. Я чувствовал ее тело сквозь преграды перекладин потолка, отделявшего ее помещение от моего.

У нее был ключ от моей комнаты, и она могла незаметно приходиться ко мне.

Ее тщательные заботы о внешней благопристойности не дали мне возможности заглянуть в ее интимную жизнь. Я не знал ее спальни, как и ее прошлого. Она оставалась для меня загадочной и тем более заманчивой, что хотя и отдавалась мне с такою бешеной яростью, я не знал ее, и эта ее загадочность была одной из причин моей безрассудной любви к ней.

Вопреки запрещению моего друга, она проскользнула в мою комнату. Она скинула свой длинный плащ и явилась передо мной во всей своей красоте.

Я был предупрежден об ужасных последствиях, которые могла иметь для меня моя прежняя жизнь. Я проклинал себя за то, что снова пробуждалась в моем истощенном теле жажда ее, и проклинал ее за то, что она приносила мне в жертву свое тело, когда на него был наложен для меня запрет.

– Уйди, – умолял я ее, – видишь, я умираю. – Молю тебя, иди к себе!

Я говорил ей, не стыдясь своей телесной немощности, которую молодой человек из чувства гордости и самолюбия скрывает от своей возлюбленной. Быть может, это чувство есть атавизм, в котором пробуждается властитель былой поры, могучий господин, сильный в своем желании и сияющий лучезарным и вечным блеском. Но это гордое и деликатное чувство совместимо только со здоровой любовью. А я отказался и от гордости мужчины.

Од пощадила меня и не засмеялась своим злым, ироническим смехом. Она прижалась своими алыми, смертоносными губами, и жгучая, ледяная слюна ее просочилась сквозь мои зубы. И еще раз моя воздержанность, упадок моих сил были взбодоражены неутолимимым желанием, отнимавшим у меня всякую волю.

Видя, что ничто не в состоянии удержать меня от новых повторных падений, пока Од и я будем жить в одном доме, мой друг прописал мне переменить место жительства. Он захотел лично увезти меня к одному из своих родственников, арендатору небольшого имения в нескольких милях от города.

О своем отъезде я не должен был ничего говорить Од.

Мы выбрали день, когда она ушла в гости к знакомым, наняли экипаж и уехали в деревню.

Песчаная, поросшая ельником местность радушно приняла меня к себе.

Это было в конце лета.

Пора жатвы прошла. На румяных гумнах происходила молотья, и цепы то и дело взлетали вверх и колотили колосья.

Я прожил около месяца среди очарования спокойных и правильных полевых работ. За мной, как за сыном, ухаживали эти мужики, являвшие мне образец простого благородства свято исполненного долга. Я восхищался благоговейными и доверчивыми отношениями, которые царили между ними. Они не ведали моих печальных заблуждений. С детства знали они строгую и могучую любовь матери-природы, они видели кратковременный брак коровы с

быком, присутствовали при торжественной случке жеребцов. Самцы расточали жизнь, которая оплодотворяла утробы самок. Происходили брачные обряды, как происходил посев и пахота, чтобы вечно всходило семя, продолжая до бесконечности жизнь человечества и земли. И они, эти люди, по примеру животных творили древнюю и вечную любовь. Белые ткани на их постелях соткали их предки, как подарок для брака и впоследствии – для погребения, прочные, непорочные ткани для священных обрядов жизни и смерти.

Это были невинные дети земли. Она купала их детьми в своей росе, крестила струями своих соков. Они бегали нагими на солнце под тенью деревьев. Свои тела они познали в плеске вод и не чувствовали стыда.

О, великие, дикие и нежные души! Лишь в близости с вами я постиг лучшего человека, творящего жизнь в согласии с природой. Вы научили меня святости тела с его членами, создающими красоту и изобилие жизни. А воспитатели научили меня краснеть за эти члены, и я их употребил на смертоносное дело. И ныне, когда я вижу, что мое духовное бессилье сроднило меня с огромным большинством других молодых людей, я все сильнее убеждаюсь в том, что единственное спасенье – это просто внимать голосу жизни, чья силы, которыми она преследует свои таинственные замыслы. Кроткая животная невинность этих мужчин и женщин впервые получала для меня иносказательный смысл притчи.

Душа моя выздоровела. Сравнивая свою запятнанную молодость с их полной душевной ясности страстью, я понял, каким я был несчастным человеком.

Семья оказалась мне символом, деятельным и благодатным библейским ковчегом, где благоденствовали создания, где свято чтились законы божественной природы.

Все движения были полны братской любви и благоговения. В них выражалась благодарность лету, которое приносило им обилье, и осени, которая заполнит вскоре скирды и амбары. Тучный хлеб в кладовых прославлял борозды плуга и руки, которые вспахали ниву. Густое молоко охлаждалось в подонницах, разливая запах лаванды, в котором слышалось благоухание лугов. Мясная пища была изгнана со стола. Эти дети древних тружеников земли потребляли чистую пшеницу и иные плоды земли. Хлеб и соль на столе сохраняли свое почетное значение.

И в ульях трудовые пчелы – величественный пример окрыленных созданий – роились на стенах под восточными лучами солнца.

Я наслаждался здесь своим физическим и духовным выздоровлением.

Я бродил часть дня под симметричной колоннадой хвойных деревьев. Вдыхал тепловатую смолу – бодрящий, едкий дегтярный аромат, подобный запаху верфей. Первые лучи зари пригревали навозные кучи, которые слегка испарялись. Молодая сирень дышала тонким ароматом. Знойный полдень вызывал потоки растительного клея. Бродили острые, скипидарные соки и насыщали собою воздух. И наступивший вечер разносил повсюду и наполнял комнаты хмельным дыханьем дневных курений. Прохладная тень трепетала, как от благоухания солнца. И все оставалось прозрачным – и лица и одежды. Я припоминал запах моха и сероцвета, которыми пахли юбки Ализы.

Для меня это движение соков было новым вином, опьянявшим и вливавшим в меня жизнь.

Од со своей страстью, подобной белой, раскаленной звезде, перестала преследовать меня. Осталось лишь безмятежное, скорее грустное воспоминанье, как медленное исчезновение страданья в период выздоровления. Наши жизни на мгновенье, стояли рядом, не соединяясь. Казалось мне, что судьба избрала меня, чтобы я мог запечатлеть спокойные образы, которые меня окружали.

Глава 30

Каждую неделю мой друг навещал меня. Он констатировал мое восстановление. Ни он, ни я никогда не заговаривали о той, которая оставалась в городе.

Между тем, по мере того, как приближался конец моего пребывания в деревне, передо мною выявлялся мало-помалу образ Од. Постепенно этот образ становился все обаятельнее, приобретая черты другой, менее знакомой мне женщины. Од теряла свой телесный облик и отказывалась от той жалкой, изъязвленной любви, от которой я погибал.

Каким-то чудом проклятая красота ее как будто одухотворялась и становилась сквозь прозрачную дымку отдаления такой родной и близкой. Мне показалось, что я несправедливо отнесся к ней. Быть может, между нами произошло недоразумение, причиной которого скорее был я, чем она. Я убеждал себя, что она – моя судьба, убеждал себя в ее искренней привязанности ко мне. И меня угнетала мысль, что я не отплатил ей даже самой элементарной признательностью.

Это странное волнение, этот возврат неизлечимого недуга находил к тому же пищу в окружающей природе.

Все было здесь прекрасно, гармонично, упорядочено, стройно. Эти смиренные сердца с молчаливой покорностью принимали так же безропотно град, как и зной, дождливый август, как и декабрьские бури. На мои старые горящие раны снизошло успокоение, благодаря тому, что и меня осеняла непоколебимая надежда этих людей, их животная вера в конечное воздаяние. Мне стало казаться, что я преодолел в себе мятежное и низменное существо, что мне нечего больше бояться тайников моего я.

Так успокаивается постепенно первобытный, кипящий хаос в человеке и уступает место безмятежному покою. Само человечество – лишь конкретный образ вселенной, и все его переживания отражают лишь великое биение сердца земли. Я успокоился. С души исчез мучительный осадок, уступив место благодатному покою, ясной и бодрой решимости.

Полный жалости и доверчивости шел я навстречу Од с распростертыми руками, готовый заглаживать те раны, которые они ей причинили. Меня охватила наивная мысль, что она несчастна и скорбит о нашем обоюдном изгнании.

Эта была из всех иллюзий самая опасная. Испытание, которому я подвергался, только сильнее растревляло мои язвы.

Ее чары не исчезли и разъедали мою отравленную кровь.

Увы, я был введен в обман ласковой насмешкой пейзажей. Они вызывали во мне желание, не внушив сил для борьбы с искушением.

Осенняя листва уже подернулась желтизной. Воздух становился холодным от туманов, и во мгле просыпалось утро. Наступили суровые и безмолвные вечера.

Если бы в это время я смог отречься от моей деспотической любовницы, – как прекрасна была бы вся остальная моя жизнь.

Но Од жила во мне с преображенным от жалости и смирения лицом, превратившись в страдающую возлюбленную, призывавшую меня ради нашего обоюдногo исцеления.

В красоту облеклись мои обманчивые мечты и, не переставая, разъедали меня прежние, ядовитые соки. Я жаждал лишь одного: загладить мою вину перед ней, воображая, что она винит себя еще сильнее. Я жаждал ее всей душой, которая казалась мне обновленной, а на самом деле была еще слабее прежнего.

Мой друг хотел задержать меня до зимы у простых обитателей фермы.

– Поверьте, – убеждал я его, – силы мои прекрасно восстановились, я совершенно излечился как от зловещей любви, так и от влияния Од на меня.

Мой друг кивал незаметно головой и говорил мне о человеческих слабостях. Я не возражал ему больше и однажды, чуть забрезжило утро, взял страннический посох и простился с моими хозяевами.

Я шел лесом. Вдыхал его оздоравливающие ароматы. Запоздалая роса искрилась лучами перламутра на мшистой дороге, еще мокрой в ранний, влажный утренний час! Нежная лазурь небес была как бы прелюдией грядущего.

Я не ускорял своих шагов. Моя походка была спокойна, как и душа.

«Я совсем выздоровел, – убеждал я себя, – ведь я по собственной воле сокращаю шаги, которые приближают меня к Од».

Я наслаждался еще своим спокойным настроением, когда городские башни стали вырисовываться на туманном небосклоне.

Движение моей крови ускорилося. И сердце сильно забилося. Мне следовало бы внимательнее отнестись к этому необычайному возбуждению и вернуться обратно, возвратиться к благодатной природе, к ее безграничному покою. Но соки мои уже забродили. Нервы напряглись. Я чувствовал на своих губах ощущение ее поцелуя.

Я зашагал вдвое скорей. Вся моя воля исчезла, исключая той частицы ее, которая отдавала меня отныне всецело в ее власть.

Я должен был держаться за перила лестницы, чтобы подняться к себе. Я не чувствовал большей слабости в тот день, когда уходил из этого дома. Наконец, я отворил дверь.

В моей комнате сидела Од.

Глава 31

Как будто ничего не переменялось. Как будто я только пошел, как делал раньше, купить легкую закуску, которую она любила: закуска эта восстанавливала наши силы после испытанных наслаждений. Од подошла ко мне и просто протянула руку:

– Я знала, что вы скоро придете, – промолвила она, – и вот, я вас поджидала. Никто здесь не подозревает, что последние дни я сидела у вас в этом кресле за опущенными занавесками. Уехав так поспешно, вы забыли вынуть ключ из двери, и у меня был всегда свободный доступ к вам. Я подумала, что вы не будете сердиться за то, что мне приятно находиться среди вещей, которые жили вместе с нами.

Я трепетал от надежды найти на ее лице следы страдания. Но она не казалась грустной и только относилась ко мне необычайно серьезно.

– Од, Од! – воскликнул я. – Ты никогда не простишь меня за то, что я хотел тебя покинуть? Теперь ты не можешь уже не знать, что я на самом деле надеялся обрести в себе силу никогда больше не видеть тебя. Но она не может сравниться с той, которая сегодня привела меня к тебе!

Я усадил ее в кресло, обвил руками. Она была спокойна и как-то уверена в себе. Я не мог бы сказать – была ли она счастлива этим мгновением, когда после разлуки, чуть было не порвавшей совсем наших отношений, мы снова вернулись друг к другу. Все мое тело вздрагивало. Ее платье доставляло мне сладкое мученье, как власяница, надетая на мою любовь. Я распустил ее волосы, столь черные, что казались в темноте кроваво-красными, и завернулся в них, как в саван.

Бешенство обдавало меня. Нервный ток пронизывал мои пальцы, в которых нарастала какая-то сила. А она оставалась холодной и какой-то чуждой и себе, и мне.

– Я ни в чем не упрекаю вас, – сказала она, отводя мои губы своими руками. – Мне не в чем вас упрекать. Может быть, оба мы обманывались. Останемся просто друзьями, так как мы не могли больше быть...

Она не договорила, удерживаясь от более определенного выражения и, казалось, боялась намекнуть на любовь, чтобы не оскорбить ее.

Но я воскликнул.

– Од, Од! Я вернулся, я твой. Забудем все, кроме радости находиться вместе друг с другом. На этот раз я приношу тебе мою искреннюю любовь.

Она пристально и странно поглядела на меня и проговорила:

– Помни же, что не я тебя звала. Ты возвратился по собственной воле.

Она говорила мне тихонько с оттенком ласки, называя меня на «ты».

Я не думаю, чтобы она притворялась, и, однако, она мне сказала то, что сделало меня на будущее время, в силу какого-то молчаливого соглашения, ее покорным рабом. Я покрыв ее поцелуями и воскликнул:

– Од! Ведь я не мог бы жить без тебя. Убегая от тебя, я убежал от самого себя. Ты там, в природе, была гораздо ближе ко мне.

Теперь в первый раз она рассмеялась своим немим смехом и, увлекая меня в соседнюю комнату, проговорила:

– Видишь, я уже приготовила постель.

Ничто не могло бы лучше, чем эта фраза, передать, насколько она была уверена во мне и сколько в ней было насмешки над моим неудачливым отъездом. В своем смущении я видел только одну покорность с ее стороны, радушие и приветливость верной рабыни любви.

– Пусть сожаление о проведенных вдали друг от друга часах разлуки потонет в нашем наслаждении и будет навсегда погребено.

Ее волосы раскинулись, как ветви пальм. Она взяла мой рот своими губами и, как прежде, влила в него струю жизни.

И никогда я не находил ее более прекрасной и желанной...

Мы любили друг друга до изнеможения.

Глава 32

Свинцово-золотые цепи снова опутали меня. На истощенной почве не может взойти обильная жатва, тщетной осталась попытка суровых и добрых крестьян приобщить меня к радостям жизни.

Я был странником и слепцом. Я ударял посохом по земле – и полились воркующие источники из недр ее, а теперь я снова был прежним, точно никогда не слышал наставления простого землепашца.

Земля, этот символ великой плодovitой любви, была позабыта. Во мне снова поднимались жадные вожделья, как алчные акулы, привлеченные запахом свежей добычи за грядой волн корабля. Я безвозвратно утонул в пучине нераскаянного греха и отрекался от завоеванной на мгновение красоты. Оцепенелость и усталость, смертельная, летаргическая тоска снова служили мне ложем моих падений. В своем безумии я изнемогал под гнетом беспутных ухищрений и убийственных козней, коварных, утонченных, разнообразных хитросплетений. Лишь позже понял я, какие права давало ей наше примирение.

– Помни же...

Это благоразумное и холодное сердце обезопасило себя от всякой возможности возмущения с моей стороны.

Однако теперь Од сдерживала мою бешеную ярость, как свору псов перед травлей. Наше наслаждение сбросило всякие цепи после перерыва, только обострившего нашу жажду обладания. Быть может, эта тактика, подготовившая восстановление моих сил, имела в виду смягчить мое душевное отвращение.

Однажды Од промолвила мне со странным спокойствием:

– Не попробовать ли нам жить вместе просто, как друзья?.. Ведь ты сам, милый мой, вернувшись, предлагал мне дружбу.

Ее глаза были непроницаемы для меня: казалось, она высказывала свою задушевную мысль. Но я не ошибся: все это было лишь желаньем высмеять добродетель. Я показался самому себе сквозь эту скрытую иронию уничтоженным и убогим, как бедняк, обманывающий себя надеждой на несбыточное счастье.

Притворная нежность и лицемерное благодушие скрашивали на некоторое время нашу жизнь.

Бывали дни, когда я, легковверный, предполагал возможным надолго продлить эти неискренние отношения.

Никогда мы не казались такими искренними, но искренней была только наша обоюдная ненависть. Мы смотрели друг на друга со злобными и снисходительными лицами, безобразие которых должно было бы ужаснуть нас, если бы мы не были незатуманены притворством, ставшим основой нашей жизни.

Я избегал допытываться ее замыслов и сам не смел разбираться в своих отношениях к ней. Но я не страдал.

Моя двуличность давала мне спокойную уверенность, которая в пору искренних заблуждений не существовала.

Я был счастлив, если можно назвать таким словом растительное и лишненное всяких укоров совести состояние духа и тела. По крайней мере, утомительность пререканий и мучительные внутренние переживания были мне незнакомы. Я неохотно реагировал на всякое внешнее влияние.

Без всяких усилий я избавился от мук о принесенном мною в жертву человеческом достоинстве. Я игнорировал все то, что могло бы служить оплотом для моей личности. И сквозь это тупое равнодушие я даже едва сознавал: ненавидел ли ее?

Мирное житие сменило бесполезные возбуждения.

Глава 33

Эта книга – одна ужасная спазма и боль. Она печальна и оголена, как голод, как палата в лазарете, как труп с ободранной кожей. Я писал ее с воплем горечи, чтобы читалась она с горечью и мукой.

Если вы стремитесь найти в ней одно удовольствие – не читайте дальше! Закройте ее – она не удовлетворит вас. И, может быть, все, что мною написано до сих пор – ничто в сравнении с тем, что надо еще сказать.

Однажды мы решили с Од уехать из города. Она первая подала эту мысль. Общественное мнение было для нее очень важным, поэтому она боялась, как бы наши отношения не были разглашены. А меня ничто не удерживало в городе.

С некоторого времени я перестал посещать университет и решил отказаться от карьеры юриста, на которую возлагал такие надежды мой отец.

Временами навещался ко мне мой друг – молодой врач. Он чувствовал ко мне искреннюю привязанность.

Я плохо выдерживал его грустный взгляд, с которым он выслушивал мои уклончивые ответы, когда расспрашивал о пагубной для меня женщине. У меня не хватало смелости поверить ему правду. Я видел, что он это понимал и прощал мне мою ложь. Однако его присутствие уничтожало меня как живое осуждение, как живой упрек за мое падение. Это было еще одной причиной желать отъезда из города, в другое место, где я мог бы избежать подобных тягостных свиданий. Я не замечал, что старался оградить себя от надоедливых и утомительных угрызений совести.

В таких обстоятельствах Од обнаруживала свою удивительную выдержку. Она никогда не поддавалась ни откровенности, ни неосторожности. Все ее решения были следствием точного и холодного расчета.

Я умолял ее согласиться на совместную жизнь: жить как муж и жена. Но она решила иначе и выбрала себе помещение недалеко от того, которое я нанимал.

Я никогда не знал, какие у нее были средства. Напрасно настаивал я на том, чтобы она согласилась разделить со мною доходы с моего наследства. Не думаю, чтобы нашлась какая-нибудь менее требовательная любовница в этом отношении. Она хотела сохранить за собою свободу и устраивалась так, как будто я не существовал для нее.

Мы условились, что она будет приходить ко мне, как и прежде. У нее имелся ключ, дававший ей возможность входить ко мне, когда бы она ни захотела.

В итоге – это было возобновлением прежнего образа жизни, но более безопасного, благодаря населенности квартала большого города.

Казалось, наши отношения совсем не изменились. Од не переставала представляться для меня загадкой. Как будто она всегда старалась скрыть что-то из своей жизни и, как мне думается, сама себя не знала. Она была притворна и скрытна, как хитрая, крадущаяся кошка, как дикий зверь, заматающий свои следы в лесу под пологом ночи. Одна ее фраза, сказанная ею как-то невзначай, обнаружила всю ее двуличную натуру:

– Когда не знаешь, что грешишь, разве это значит грешить?

Она не переставала исповедоваться и причащаться в установленные дни и в это время напускала на себя вид набожной говельщицы и избегала приходить ко мне. Я думаю, что она сразу освобождалась от своих бессознательных грехов, хотя мы оба сознательно подвергали себя вечному осуждению. Ее религиозность казалась искренней, как и ее притворство.

Она не была сложной натурой и, быть может, только подчинялась своему инстинкту извращенности. Возможно, впрочем, что говение и причащение бессознательно для нее самой являлись пряной приправой к ее разнузданному разврату.

Од скрывала от меня свою душу и выставляла только свое обнаженное бесстыдное тело. Она наполняла меня любовью и не требовала, казалось, от меня никакой любви взамен. Наверно и всякий религиозный обряд она совершала также и продолжала оставаться замкнутой и пассивной рабыней, послушной моим самым требовательным желаньям. Ее коварная нежность могла провести самых прозорливых ангелов. Даря свою страсть, она, несомненно, хотела лишь лучше ввести в заблуждение всех, которых, как меня, терзала обманчивой надеждой на взаимную любовь.

В этом большом городе с его распущенными нравами ничто не заставляло нас быть осторожными.

Ночью мы выходили из дома, шли в ту часть города, где тишина наступала раньше, чем в других, и садились на скамью под чинарами среди благодатной прохлады лета.

И там Од навевала на меня настроение, ярко воскресавшее старое и дорогое воспоминание. Не произнося ни одного слова, она сбрасывала с себя платье и накидывала плащ, спускавшийся ей до самых ног.

Последние колокола замирали в сумраке. Кругом стояла тишина.

Она распахивала плащ и являлась мне в своей наготе. Ее тело казалось для меня более дорогим и редким по своей красоте вследствие представлявшейся для нас опасности быть внезапно застигнутыми, вследствие умышленного и явного оскорбления ею общественной нравственности.

Я не могу выразить, какое неслыханное возбуждение вызывало во мне такое осквернение таинства любви. Это был явный расчет вызвать в нас более острое наслаждение. Меня пронизывало ужасным возбуждением, наполняло диким безумием. Я испытывал во всей своей силе бешенство гибели своего существа.

Од и в это мгновение обнаруживала всю свою безмерную власть, как усердная труженица над растлением человеческих душ. К моему возбуждению присоединялась еще острая ревность, словно я оспаривал ее у скопившихся вокруг прохожих, отстаивал от разъяренной похотью толпы. А ночь и нежный, тихий ветер омывал ее трепетавшее легкою дрожью тело.

Это было оскорбительным посягательством на Красоту. Оно погружало меня в жестокий бред, которого не могло рассеять нежное видение ночного леса. Это видение не убивало любви, не оскорбляло священного чувства. Оно гармонировало с торжественною ночью, с ступившимся сумраком теней, с вечною жизнью человечества.

Ничто не могло осквернить и нарушить этого одинокого и великого великолепия любви: впервые Ева, казалось, предстала перед юным Адамом. Но в тот же миг возрождался внезапно оргийный обряд, и любовь и красота были одинаково оскорблены.

Теперь, уже много лет спустя, при воспоминании об этом я краснею.

Од умерла. С ее смертью я освободился от ее ужасных чар, но было уже слишком поздно. Если я и выздоровел наполовину, то все же хотел бы этим покаянным признанием спасти молодых людей, которых нелепое воспитание и преждевременное пробуждение чувственности могут уподобить мне, я хотел бы спасти их от опасной встречи с такою же Од.

Меня вскоре стала одолевать потребность в таких разъедающих возбуждениях. Образы, вызывавшие некогда во мне представление о неестественной половой любви, заранее обрекли меня в рабы бесстрашной самке, которая умела их вызывать во мне. Но если бы даже я не видел этих картин, то аскетизм, в котором я воспитывался, вызывая к телу преувеличенное отвращение и вместе интерес, предрасполагал бы меня подчиниться до полного обезличенья власти женщины, прекрасной в своем грехе.

Знать или не знать? – вот в чем вопрос. И следует ли презирать природу? Я могу служить примером заблуждений, которые проистекают для молодого человека, и пылкого человека, из мучительного состояния неведения.

Эти мои признания преследуют одну только цель – показать, каким я стал несчастным, наказанным за чужую вину. Природа хочет, чтобы все органы, вся система жизни прославляли ее от самых сокровенных источников бытия до блещущего благородства лица, от нежной грации рук до красоты всего, что не скрыто одеянием. И все зло проистекает только из того, что эти источники остаются скрытыми и греховными для юноши и юной девушки, которые, не понимая смысла их, терзаются желанием познать их или, познавая их случайно и неожиданно, оказываются беззащитными против растлевающих заблуждений.

Им проповедовали:

«Забудьте ваше тело, ибо оно безобразно».

А они тем более начинали думать о нем и всегда были готовы ему поддаться.

Позднее пышный расцвет сил, возбужденных мясной пищей и вином, – этой трапезой, более варварской, чем пиршество дикарей, – подчиненное положение и вытекающая отсюда извращенность и пустота женщины, этого маленького идола, этой царицы на ложе и покорной рабыни в остальной жизни, – все эти причины заставляют тем легче поддаваться искушению.

Простой народ, живущий в наготе своего тела, пребывает чистый сердцем, под лучами светлого солнца, и только у культурных людей существует эта извращенность любви, побуждающая их искать друг друга под ворохом одежд.

В деревне мужчина и женщина знают лучше друг друга, чем в городе. Там с детства оба пола связаны нежными нитями игр близ ручьев и озер. И брачное ложе дарит их простым и более близким к природе наслаждением.

Я верю, что со временем наступит пора, когда маленькие дети увидят себя в нагой чистоте своих тел. Их воспитают под семейным кровом в красоте невинности, а в школе добрый учитель расскажет им, чем являются они друг для друга. Им постепенно объяснят значение пола в их жизни, как и в жизни вида, с точки зрения гармонических законов Вселенной; им покажут, что нет никакой разницы между распустившейся чашечкой цветка и расцветшим телом девушки, что сердцевина плода подобна телу супруги, а прививка – красоте символа оплодотворенья. Ведь цветы и плоды не грешат, и садовник не краснеет при виде привитой ветви.

Познание Вселенной осуществится в познании человеком самого себя.

Мир – лишь аллегория человека. Ибо истина заключается в прекрасном саду жизни. И, поверьте, дети пойдут чистыми путями и не будут трепетать и бояться расти друг возле друга.

Но мне говорили:

«Лучше отсеки то, что соблазняет тебя, как мужчину, чем если бы оно стало источником твоей радости». И в меня вселился Зверь.

Я познал невинность лишь после того, как потерял ее, и рай стал для меня пустыней, населенной рыкающими тварями. Опыяненный тяжелым чадом недобродившего вина, я влачил с собою ужас перед телом женщины.

Од в красоте своего тела еще усилила этот ужас после того, как я испытал с нею головокружительные наслаждения. Я никогда не мог взирать на очертания ее обнаженного тела, не испытывая томительного ужаса, что за ним скрывается противоестественность и коварная тайна.

И мне кажется, что даже приближение невинной девушки возбуждало бы во мне жгучее, острое ощущение.

Глава 34

И стал я старым, увядшим человеком в те годы, когда должен бы был ходить с гордо поднятым к небу челом, когда сердце полно кипучей жизненной страстью. Но сердце мое замерло и заледенело, как будто смерть его уже коснулась. Оно вырвалось из моей груди, покатилося по наклонной дороге и иссякло кровью. А она со спокойной уверенностью толкала его концом своей ноги все ниже и ниже.

Я спускался по нисходящей спирали гибели и вырождения... Нет, я низвергался со страшной быстротой, как бы влекомый какой-то слепой и головокружительной силой. Я отсекся от своей гордости мужчины, берущей силы у природы. Я не замедлил отрешиться даже от сознания своей личности.

Мы проводили дни, не обмениваясь ни единым словом. Но ее эта ужасная скука не угнетала. Она не чувствовала потребности поведать мне о чем-нибудь. Она была угрюма и безмолвна в сияющем блеске своего существа. Я понял, что чувствовать себя изгнанником всей Вселенной – тоже признак печати Зверя.

Чтобы разнообразить будни нашей жизни, мы отправлялись по временам на лоно природы: природа всегда действовала на меня благотворно и оздоравливающе. Прежняя близость к деревне пробуждала во мне силы моих предков, черпавших свои соки из лесного воздуха. Наверное, меня влекла какая-то бессознательная потребность, ибо я потерял способность управлять собой.

Недалеко от города был лес, граничивший с волнующимся морем равнин. Его рассекали глубокие, как внутренность храма, дорожки. Их устье как бы погружалось в золотое пространство и производило впечатление свободного простора. Но очарование разлитой повсюду жизни и прохладной тени мне не было доступно. Только одни гармонические души осеняет благодать божественной росы. А моя – завязла в густой болотной тине. Я только едва ощущал поток девственных сил, как отдаленное сияние лучей священного и навсегда запретного мне места.

Од прискучили эти прогулки, и от ее скуки веяло холодом на меня. Она смотрела на них как на бессознательный физический отдых.

Отражение лазурного неба и зеркальных вод не доступны человеку, лишенному внутренней красоты. Величавые узоры деревьев, подобные разноцветным окнам храма с изображением ликов святых, никогда не являлись для Од благовестием вечной красоты. Она сама была воплощенным безмолвием и не ценила поэтому возвышенной красоты безмолвия.

Ализа, эта маленькая дикарка, всеми нитями своих нервов, всеми фибрами своего маленького страстного и нервного существа была сплетена с сияньем солнца, с дыханием утреннего и вечернего ветра. Она как будто была воплощением вечных сил природы. В ее чистых глазах отражались пейзажи. В недрах своих она носила девственную, животную любовь. И жизнь ее, как бы символически, завершилась в глубине вод. Она вернулась к природе и уснула в баюкающей колыбели волн. О, как была она близка к непосредственной красоте творенья!

Некоторое время спустя Од стала настаивать возвратиться в город. Наше возвращение было печально, как скучные праздники, как изжитой конец дня.

Мы проезжали городское предместье, где в ответ на воззвания силачей над каменным помостом балагана, разносились звуки порывистой военной музыки.

Од не любила театра. Она была воплощенной ограниченностью и отличалась полнейшим равнодушием ко всяким духовным интересам. Она презирала самую сущность красоты, и шум военной музыки удовлетворял всецело ее посредственную натуру. Ей нравились пластические жесты, балет, чувственная роскошь поддельных материй и размалеванных тел. Игра мускулов, порывистые движения торсов и ляжек под трико, плавные прыжки наездников – ласкали ее

взоры. Она никогда не пропускала случая поглазеть на какую-нибудь драку, запах человеческого пота пьянил ее, как вино.

Мы взяли места за оградой, где болтовня ярмарочной публики сливалась с аплодисментами.

Это зрелище скорее возбуждало во мне отвращение.

Я был небольшого роста и худой, нервный и чувствительный до крайности; атлеты с их шумными парадами неприятно действовали на мой убогий героизм.

Од, напротив, обычно столь сдержанная, теперь с увлечением пожирала это зрелище, как будто сама принимала участие в нем, то порицала, то одобряла борцов, когда удавался ловкий прием или выпад. Быть может, только в эти мгновения ее обычная безучастность уступала место некоторому интересу.

На арене городского цирка подвизались сменявшие друг друга проезжие труппы комедиантов. Я глядел без слишком большой усталости на пируэты и разные акробатические выкрутасы.

Могильная веселость клоунов граничила с чем-то нереальным, с какой-то средневековой, полумрачной, полушутовской пляской смерти и пронизывала острым ужасом мои нервы. Гримасы их набеленных и патетических лиц, на которых притворное страдание сливалось с судорогой смеха, воспроизводили самую трагедию жизни. Загадочность их личностей под хохолками, напоминавшими пламя пунша, и пестрота их лохмотьев в особенности забавляли бесстрастную Од, видевшую в них своих собратьев, действовавших как во сне и не понимавших самих себя.

Приведя мою холодную возлюбленную на эти зрелища, я был счастлив угодить ей и сам невольно поддавался тому единственному очарованию, которому поддавалась она.

Она находила в этом маскараде сходство со своей собственной жизнью. В минуты наслаждения она сама была совершеннейшим типом актрисы.

Ее ритмичная страсть была подобна захватывающей дух гимнастике. И расчетливая красота ее тела раскрывала передо мною всю поэзию, на которую только способен Зверь.

Да, я признаюсь в этом, чтобы оправдать самого себя. Од пленила меня чарами своего искусства и красоты не в меньшей степени, чем и своими коварными ласками. Может, это доставляло мне более безумных радостей, чем обыкновенная половая любовь...

Однажды вечером жажда грубых зрелищ увлекла нас в театр, где мы увидели танцовщицу, которая с преувеличенным кривляньем передразнивала танец живота, с некоторого времени привившийся в Европе, и религиозный смысл которого был немедленно извращен, получив значение какой-то непристойности, значение символа половой разнузданности.

Од оставалась совершенно равнодушной во время этого зрелища. Но, когда мы вернулись домой, она сбросила с себя одежды и, играя прозрачным батистовым платком, как вуалью, прикрывая им слегка лицо, она стала подражать сладострастному танцу, отличаясь в своей наготе раздражающим целомудрием.

Ее груди и бедра трепетали мелкою дрожью, словно их обдавало каким-то невидимым, магнетическим дыханием жизни, мощными волнами любви. В следующее мгновение по ним пробежал поток волн и они поднялись, как под натиском прилива. И этот поток набежавших волн то вздымался, то опускался, начиная медленно приводить в движение изгибы ее тела. Она, казалось, дрожала и вздувалась от боли, желания и муки в священном припадке половых и родовых судорог. Словно стремилась она то к юной и нежной любви, то к бурной страсти, к лобзанию ветра и к ласке воды и листвы. Робкому возлюбленному она обещала укромные тени немых лесов, отважного любовника подстрекала к насильственному умыканию, как к убийству среди знойного полдня. Словно в гареме, полном мягкой неги и дурмана, плясала баядерка символический и огненный танец, чтобы пробудить в своем господине страсть. Словно юная

жрица с глазами газели, раскрашенная танцовщица с Цейлона предлагала чашу жизни, совершая вечный обряд мистической радости плодородия.

И ледяная душа Од тихо и нежно забылась в безумье судорожных спазм.

Я взял ее в свои объятия.

Легкий пот струился по ее лицу.

И вдруг она захохотала беззвучным смехом маски.

Она ненавидела природу – мать. И я, в конце концов, перестал ценить благодатное и краткое очарование природы.

Мы стали с этих пор более усердно посещать многолюдные, заселенные кварталы. Она любила грубое прикосновение красивых, косматых мужчин, вызывавшее в ней чувство, будто она отдавалась им.

Во мне же, напротив, вся эта суэта порождала отвращение, ибо я предпочитал уединение. Тем не менее, и здесь, как во всем остальном, я поддавался ее влияниям. Я давно уже вел себя настолько трусливо, что она вполне управляла моей слабой волей. Она так сумела подчинить меня, что иногда я уличал себя даже в одинаковых с ней мыслях и выражениях. Я усвоил себе даже те ограниченные крохотные мысли, которые копошились в ее пустой и упрямой голове. Как будто я с таким усердием развивал свой ум лишь для того, чтобы навсегда и безвозвратно лишиться его, погрузившись в это рабское и низкое состояние.

Она влила в меня свое презрение к красоте, свою насмешку над божественным сиянием, которым были озарены свободные души. Я принес ей в жертву мои убеждения и верования.

Это вероотступничество после стольких иных родилось во мне из тайного стыда перед ее ужасным смехом.

И нити, связывавшие меня с поэтами, с благородными и мелодичными душами, – порвались!

– Слова! Звуки! – произносила она с безмерным, царственным презрением. Я перестал внимать себе, не смел внимать речам утешения, которые могли бы возратить мне внутренний слух и принести бы желанное исцеление.

Порою проглядывал я кое-как пошлые газетные листки. Красоты гармонии и сладкого духовного общения с поэтами я был уже лишен. Казалось, Од наложила печать повелительным знаком руки на некогда любимые мною книги.

Мало-помалу я стал избегать малейшего умственного напряжения, и не было у меня никаких мыслей. Если бы меня пугала мысль сделаться под конец тем бессознательным и угрюмым существом, каким я стал, – мое существо не согласовалось бы с ее тайными намерениями.

Моя жизнь погибала в этом величайшем распаде, потери личности, полном забвении свободного, наделенного волей существа.

Мы жили уединенно. Не было ни одного человеческого лица, никого, кто бы ободрил меня и освежил. Она вынудила меня отказаться от всякой дружбы и не выносила никого постороннего в замкнутом круге нашей жизни.

Раз я привел бродячую собаку с такими трогательными и выразительными глазами, что ощутил внезапно страшную потребность в чьей-нибудь дружбе. Она распахнула окно и, ни слова не вымолвив, вышвырнула собаку на улицу.

Глава 35

Я приблизился к перелому, который на некоторое время освободил меня от нее. Этот перелом возник в самых недрах моего существа и всколыхнул его сокровенные тайники.

Мое унижение и отвращение дошли до крайних пределов и подготовили мое временное выздоровление. Среди душевного мрака и духовного тления во мне еще сохранились живые частицы, нетронуто дремавшие неведомого для меня самого.

Удивительно, какие спасительные силы таятся в глубине человеческого существа и сколько в нем света, озаряющего мрак души, рвущейся к возрождению!

Наше странное недоверие к собственной природе и постоянная потребность опираться на символы заставляют уповать на вмешательство сверхъестественных сил. А в действительности эти силы коренятся в нас самих и работают среди самых гнилых частей нашей души. У святых Ангелов милосердия – бледные лики наших немощей и скрещенные руки нашей надежды на возрождение. Я искал их некогда у подножия алтаря, а они лежали раненые и уснувшие на ложе моих падений и, быть может, не имели сил обратить против меня карающий меч, который касался их.

Сами мы – приспешники наших бедствий и немощей. Бог в своем величии вложил в нас средства исцеления, чтобы не посылать ради спасения погибающего легионы своих Серафимов.

Совсем и не нужно даже, чтобы наши стремления облекались в форму твердого решения, на что они так мало способны. Это значило бы требовать слишком многого от человеческой слабости.

Совершенно достаточно, чтобы человек пресытился однообразием греха. А из этого чувства природа уже сама почерпнет сокровенные средства исцеления.

Разверстая рана жаждет закрыться – и не может. Начинается процесс медленного выздоровления. С влажным и ясным взором выздоравливающий видит вдали улыбку умиленных и добрых Ангелов спасения. А эти Ангелы – сами мы, познавшие вновь красоту и надежду.

В моей несчастной и жалкой жизни наступил момент просветления. Он был куплен ценой самого ужасного человеческого жертвоприношения, последнего проблеска разума. Если впоследствии тягостные искушения, слишком явные знаки моего морального падения, отнимая у меня надежду на длительное выздоровление, снова повергли меня в объятия греха, – то потому, что я не мог уже спастись.

Испытав с великим успехом на деле чары своих хитростей, Од вздумала прибегнуть к еще более ужасному средству.

Она обладала дьявольским искусством покорять меня средствами, которые ужаснули бы меня, если бы я уже не был лишен ясности мысли и не был бессилен противиться ее ошеломляющим приемам. Они влияли на меня, как властные и усыпляющие наркотические вещества, парализуя жалкое сопротивление моей воли и подготавливая пышное, изобильное ложе для моего падения. На этот раз ее смелость, подобная самым дерзким деяниям Локусты, переполнила меру.

Как бы мне ни было тяжело, я должен поведать еще одно признание.

Это произошло во время сумасбродств карнавала. Довольно было бы одного этого сумасбродства, чтобы воочию убедиться во всей дикости нашей распущенной общественной жизни, где даже веселье носит низменный, извращенный характер. Цивилизованные человеческие существа превращаются в карикатуру, в непристойные, развратные маски.

А между тем, о, господа-моралисты! – кто из вас осмелится утверждать, что создание слез и греха не поддается даже в этот момент какому-то неясному и неизменному чувству искренности, скрытому в глубине его души и извращенному лишь благодаря извращенности самой

нашей социальной жизни, где половое влечение признано отвратительным и оскорбительным даже в самых его непосредственных, детских проявлениях – мысль безумная, из которой проистекли все последствия ненормальности половых отношений.

Праздник Луперкалий – это возмущение плоти против воздержания, – быть может, не более, как бунт прекрасного инстинкта, извращенного в своей природе и уподобленного таинствам живодерни.

Но это нисколько не умаляет безобразия и мерзости тех маскарадных дней, когда наступает царство Зверя.

И даже, если бы люди были убеждены, что Бог своим молчаливым согласием предает их ангелам зла, то и тогда надо было бы только плакать о чистых и хороших людях, кровью которых в эти гнусные дни обагрывается земля.

Од пришла в голову фантазия принять участие в этих безумных празднествах толпы.

По ночам блуждали группы масок. Растрепанные, полуголые, под блиставшими нарядами женщины, как корибантки, оглашали воздух сладострастными воплями. К их грудям и ногам жадно прилипали поцелуем взгляды, и они как бы разрешали прикоснуться к ним.

Я видел, с какою легкостью безнаказанность тонкой картонки на лице и куска накрученной на талии парчи торжествует над благопристойностью обычно самых скромных женщин.

Маска как будто плотнее прилегает к их душам, чем к чертам лица. Они предаются тайному разврату и не ведают, что творят.

С наступлением вечера Од повела меня с собой. Длинный черный фэй окутывал ее тело и на лице была черная маска с узкими разрезами орбит, отчего глаза ее сократились и делали ее неузнаваемой.

Я еще ничего не знал о ее планах. Ее замаскированность, скрывая ее от меня, окружала еще большей тайной задуманное ею предприятие. И вместе с тем она казалась мне еще более царственно-прекрасной сквозь черную тайну своего лица, как будто вся эта замаскированность была ее предназначением, а это подобие животного – естественной формой ее души.

Она повела меня на один из маскарадов арлекинов и пьеро, где знакомство завязывается мгновенно и непринужденно, благодаря тому, что никто ничего не знает ни о ком и каждый является лишь эфемерной и химерической видимостью для другого.

Од заставила меня натянуть смешное и безвкусное одеянье мага, взятое напрокат в костюмерной мастерской.

Мое равнодушие к публичным увеселениям заразилось общим весельем, криками и смехом обезумевших пестрых людей. Я принял участие в битве конфетти, в грубых и делано мужицких разговорах, в их странных танцах.

Од сжимала мне руку и говорила с сумрачным смехом своей волчьей маски:

– Ах, мой милый, никто никого не видит. И никто уже не знает, кто кого обманывает. Ах, было бы очень смешно, если бы не было так грустно.

Вспомни клоунские лица!

То, что она говорила, было правдой и на мгновение меня поразило.

– Ты права, – ответил я, – этот маскарад напоминает мрачный и пустой фарс жизни. Словно какая-то рука сталкивает нас. Никто не знает, что сейчас сделает, и мы друг для друга словно тени.

И все-таки я не мог бы сказать, чтобы все это веселье на самом деле возбуждало ее: она оставалась сдержанной и холодной среди суетни и суматохи, как будто не было ничего особенного в том, что мы затесались в эту пышную ораву людей.

Я вывел из сказанного ею верное заключение и не знал еще в какую низкую и жалкую карикатуру превратила меня та рука, о которой она говорила.

Оставив за собой шум уличной сутолоки, мы проникли на публичный бал.

Это был час, когда после напряжения и битв, устали даже самые выносливые. Тела разносили острый запах животного пота, и сбитые маски едва держались на одурманенных и придушенных лицах.

Почти тотчас же мое минутное безумие исчезло. Я почувствовал себя охваченным безграничной грустью в круговороте людей, в сущности таких же печальных, как и я сам.

Какое-то необычайное и яркое виденье – хотя ничто не заставляло меня думать об этом до того момента – перенесло меня вдруг к берегу реки. То было лето. Я шел вдоль ив по мокрой от дождя траве. И увидел, как под деревьями поднялся дорогой мне призрак Ализы – как давно образ ее ступал в моей памяти.

Она показалась мне такой далекой и вместе такой близкой, она делала мне знак, как в былую пору, а я его не понимал.

Не знаю, указывала ли она мне на воду.

Она была бледна и печальна. Губы ее были неподвижны. И мне она говорила о смерти. То было так сладко, как будто сам я перестал уже жить, как будто шла она ко мне навстречу из потусторонней страны.

И в продолжение этой галлюцинации ни она, ни пейзаж не расплывались, ускользая в призрачной дымке. С тех пор никогда они не выступали так ярко.

И вот какое-то облако набежало на мои глаза, и я почувствовал себя влажным от страха и одиноким среди шума вакханалии.

Од покинула меня. Я был стиснут объятиями этой толпы, которую, казалось, куда-то гнала безумная, томительная тоска, и сам я закружился в ее водовороте, как в вихре бури на берегу реки.

Вдруг я почувствовал себя таким слабым, что стал в глубине себя взывать к ней со всей тоской, как к единственному прибежищу, которое осталось у меня, оставленного всеми.

Спустя несколько мгновений людской поток выбросил ее передо мной.

Она кривлялась, извиваясь в объятиях маски, одетой в трико атлета. Он прижимал ее к своей груди и приподнимал своими мускулистыми, напоминавшими узлы канатов, руками.

Она прошла мимо и кинула на меня сквозь щели полумаски необычайный взгляд.

Дважды минуя меня в вихре вальса, она через стену толпившихся, разгоряченных людей повертывала в мою сторону свой сумрачно-бархатный лик и вперяла в мои глаза свой тяжелый, притягательный взгляд. И мгновенно исчезала в необъятном, скачущем и смешном кружении толпы, плясавшей как будто на раскаленных железных плитах.

Мое дряблое тело не испытывало с давних пор такого сильного волнения. Я застыл, точно кто-то вырвал ее из моей жизни, насильственно лишил меня ее дикой и великолепной любви.

Словно острые лезвия и огненные уколы вонзались мне в ребра. К горлу подступала и давила ледяная слюда и жгучий разъедающий пламень.

Мне было суждено лишь немного позже изведать боль созревающих нарывов неистовой ревности.

Это появление Од под руку со смешным силачем явилось для меня вещим знаком. Я ясно убедился вдруг, что все ее влечение к балаганным геркулесам, к мясистым и жирным борцам, к этим судорожным мертвецким гримасам размалеванных клоунов было признаком ее неверности.

Зверь во мне уже рычал, чуял смрадный запах разложения. Ноздри мои вздувались от испаренья ее жизни, от запаха пота и фукуса, который шел от ее тела и столько раз возбуждал мое истощенное желание, как в лесу кислый лисий запах подгоняет свору охотничьих псов. Я так жаждал бы держать ее под собой и кусать, и вонзать свои смертельные клыки в ее великолепное тело, и в то же время целовать с рыданьем ее уста в агонии боли и гнева.

Найти ее! Вырвать из объятий этого безмозглого шута, истукана!

Я уставал от желанья протиснуться сквозь человеческую кучу. Глаза мои, выскочившие из орбит, сверкали, как луковицы по обнаженным мятущимся телам, по мигавшим блесткам золота и крови, под светом газовых огней. Из язв моих сочился болезненный гной, и все мои раны вновь раскрылись, как от жгучего ожога искаженных болью губ. Никогда моя похоть не доходила до такой жажды проклятого яства.

Мои яростные руки, расчищая проход, задевали за плечи людей, сталкивали мягкие груди грудей и спин, словно мешали в огромном чану жаркие тела.

Среди этого месива чья-то рука опустилась на мою. Од была рядом со мною. Она глядела на меня сквозь черные щели маски, подобные глазным впадинам черепа.

– Иди! – приказала она.

И вот от прикосновения к ее шелковым, возбужденным бедрам вся моя ярость исчезла.

– Од, Од, скажи мне!..

Она увлекала меня, пылающая и холодная, повторяя сдавленным и повелительным голосом:

– Иди!!

И сознавал я только одно, – что она вновь была моей.

Глава 36

Людские волны отхлынули.

Я находился под сводами крыльца.

Лица ее я не видел совсем, душа ее была для меня непроницаема.

Мы поднялись по лестнице, устланной коврами между рядами лакеев.

Распахнулась дверь в какой-то зал, где стоял беспорядочный шум и гам яростных от веселья трубных звуков.

И тот же силач с крохотным розовым ротиком, прерывисто отдуваясь под своею маской, проталкивал нас своими большими руками, обтянутыми в трико, среди беспорядочного сонмища масок, расположившихся ужинать.

Одуряющий запах горячих тел и животного пота сливался в чад горевших свеч с насыщенным мускусом и туберозами ароматом, с запахом пищи и вин.

Измятые корсажи трещали по швам на мясистых спинах и грудях среди блесков серебряной мишуры.

Какое-то нежное, детски-хрупкое личико с мечтательным взглядом обрывало лепестки цветов в бокал с шампанским. Эта детская фигурка не замечала, что была почти совсем обнажена, и лежала на коленях у мушкетера и какого-то скомороха, руки которых охватывали ее вокруг талии.

Оргия затуманивала взоры и делала движения смелыми и назойливыми.

Я оказался между двух дам. Каждая принуждала меня пить из ее стакана и обе они, отяжелевшие и податливые, наваливались на меня. Но я не чувствовал к ним никакого желания.

Не переставая, глядел я на Од, сидевшую в другом конце стола, спокойно обмахиваясь веером рядом с геркулесом в трико, и, казалось, совсем и не подозревавшую о моем присутствии.

Она одна сидела в маске, несмотря на настояния своего кавалера, который, опершись локтями на стол, упорно старался разгадать черты ее лица.

Одно мгновение она вскинула плечами с каким-то надменным презрением ко всему этому залитому вином столу. Он хотел было потянуться к ее маске – она отстранила его руки сухим ударом веера и, повернувшись ко мне, громко проговорила:

– Здесь только один человек, который должен знать мое лицо.

Жажда снедала меня. Я осушил несколько бокалов подряд. Поступков своих я уже не сознавал ясно.

Од порой делала мне знаки и, казалось, хотела ободрить меня. Я готов был на все, что бы она ни ожидала от моего безрассудства. Шампанское вскоре перестало успокаивать мою жгучую боль, как смола и раскаленные угли, пожиравшие меня внутренним огнем. Я приказал принести ликер, этот нервящий и крепкий напиток. Вскоре я достиг общего состояния опьянения. Зрение мое затуманилось, кошмарные призраки заслоняли обычные очертания предметов.

Мне показалось, что я грежу, когда сквозь дым и чад увидел в том месте, где была Од, небывалое зрелище сказочной красоты нагого тела.

Словно под силою чар явилась Венера-Анадиомена из вороха упавших тканей, и я не знал, что то была Од. Неопишное очарование озарило мои глаза – я видел только одну богиню.

Ослепительная молния опалила мне зрачки. Я был как слепец, чьи глаза воспламенились вдруг от брызнувших лучей забрезжившей зари.

Од, сама Од, под защитой одной только маски, царя над завывавшей толпой своей наготой, была этой зарею, разбросавшей сияние божественного тела.

Я не знал еще тебя, восхитительный и извращенный зверь! Я не знал, сколько коварства, способного воспламенить кастрата, таится в чудесных недрах твоей утробы!

Отражение зеркал вспыхнуло этим восковым и розовым телом, как живым светочем, – этим трепетом статуи из червенно-золотой, слоновой кости, которая в этот миг, казалось, бросала вызов самой красоте.

Ее дерзкие упругие перси, подобные могильным холмам, царили над дряблыми, вылинявшими телами женщин, вызывая в них яростные вопли ревнивой злобы.

А Од в это мгновенье, повернувшись ко мне, как бы приносила движеньем руки мне в дар свое тело, блиставшее сиянием золота и металлов. И с черной маской на лице она казалась тайной для всех и только для меня, единственного своего избранника, с покорностью, казалось, совершала жертвоприношение.

Увы, – только позднее, когда рассеялся чад опьянения, я понял, какими неисповедимо-верными тропами эта труженица духовной смерти, заманив меня на разнузданное пиршество маскарадной ночи, лукаво и хитро хотела использовать мое двоедушие. Она мне показала любовь, которую только Зверь в своих неисповедимых путях мог придумать.

Од прекрасно знала, какой страшный, нарывчатый яд, какое искрометное, воспламеняющее средство должна была влить в мою болезненную чувственность эта нечестивая, еще неизвестная нам месса! О! – тут все было мудро предрешиено самой развратной, самой искусной и, быть может, помимо всего, – самой верной из всех дочерей сладострастья. Эта чародейка, предлагая мне заколдованное зелье, влила туда исподтишка отраву самого растлевающего безумья! И этот проклятый напиток я выпил одним залпом, как пес вместе с грязной водой лужи пьет отблески небес.

И винный хмель превратился в иной хмель, в котором внезапно забурлили соки природы: огни и стол и размалеванная пестрая оргия потонули во мраке перед повергающим в прах символом всемогущего тела.

Кости мои трещали. Все существо мое под влиянием напитков перевернулось. Со стесненным дыханием в груди, скрежеща зубами, я крикнул проклятье Распутству, чей образ приняла моя возлюбленная, озаренная, как ведьма, пламенем костра, – и это проклятье в тот же миг растаяло среди более громких проклятий женщин, разъяренных гневом и завистью.

И вот почти в тот же момент меня охватило искушение, страшное желание утолить, как после святотатственного таинства на скатерти, среди опрокинутых свечей, под сонмом пожиравших ее, как добычу, взглядов, – утолить мою ярость и ревность, рыдания и смех моей отвратительной, посрамленной любви.

Это была агония, в которой любовь и ненависть взрывали мой спинной мозг сросшимися остриями своих игл. И, как при некоторых особых ранах, боль переходит в мучительное наслаждение, – так я испытывал дикую и неистовую сладострастную пытку.

Неизмеримая бездна бытия! Бездонный источник жажды, которой неизлечимо томится дух разрушения и муки!

И ты, человек, лживая помесь, мутная смесь разнородных веществ, нечистый и дивный сплав снега горных высот и тины морей, бесплотная кровь Ангелов и свежий, пенистый гной, изверженный недрами Дракона, – ты, чья нежная и упругая грудь получила безграничную чувствительность только для того, чтобы сильнее испытывать удары, которыми непрерывно пронзает их горькое ощущение смерти, – ты, о, несчастное человеческое существо, в оскорблении единосущного с твоей сущностью Бога – оскверняешь, низводя до пародии счастья – красоту рая, куда возносится твоя смутная молитва, о, – ты воплощение самых великих противоречий!..

А эта высокомерная и ледяная Астарта, прекрасная бесстыдным целомудрием своей суровой наготы, еще мгновение царила над похотливым смятением людей, сидевших вокруг стола.

Проклиная ее, я не могу не восхищаться той спокойной уверенностью в своей силе, которая вознесла ее так высоко над другими женщинами. Обнажая тайну нагого тела, она казалась более защищенной, чем все они в своих неуклюже пристегнутых платьях. Как куртизанка, она разделась перед толпой и, несмотря на то, осталась воплощенной Красотой. По крайней мере так должна была она казаться им, ибо никто не посмел посягнуть на великолепный дар ее дивного тела. По-видимому священный страх перед Непостижимым лишил их смелости пред дерзновенной отвагой такого необычайного деяния. Од не прикасалась ни к какому вину, и никакое постороннее возбуждение не внушило ей этого добровольного и сознательного поступка.

С двумя черно-бархатными надбровными дугами хищной маски, придававшими ее лицу подобие звериной морды, она стала вдруг для меня самого более загадочной, чем была под ворохом кружев и шелковой ткани для этого сборища пошлых, развратных гуляк.

Од! Од! эта маска со сплюснутой, трагичной гримасой соответствовала твоему внешнему облику, но душа твоя или то, что тебе было дано неисповедимой природой вместо души, еще раз омрачилось неведомыми замыслами. Каким зверем из фауны хищных явилась ты мне в этом облике или, быть может, ты была всеми зверями зараз, чтобы ужаснуть само безумие, которое приковывало меня к тебе проклятыми чарами.

Быть может, Зверь есть пуп Бытия, – быть может, он гнездится в самых глубочайших недрах нашей плоти, чтобы напоминать нам, что он так же гнездится в хаотических источниках бытия. Ибо какой лицемерный богослов посмеет доказать, что кровь Христа омыла Зверя и гвозди Креста искупили страдания предков?

В отношениях полов, этих замирающих кратеров огненного хаоса, этих символов, раздирающих землю сотрясениями, – Зверь пребывает нечистым клеймом прошлой поры, остатком бродящей в центре вселенной лавы, откуда выявился, наконец, растерянный лик человека. Тогда, как души в своем мистическом браке достигают небесных высот и божественно познают себя до пределов познания, – зверь только чувствует зверя, но ему недоступно познание, как будто Бог, наделив своими щедротами праведных, скрыл запретную тайну сущности жизни от грешников, чтобы породить в них неутолимую тоску по этой тайне.

Од! Од! молю тебя здесь всем изъязвленным сердцем моим, откликнись мне, скажи из глубины вечного мрака, где ныне тлеют кости твои: была ли ты назначена мне, чтобы нам навсегда лишиться возможности познать тайну и тем засвидетельствовать вечную немощность человечества? В этот маскарадный день твоя черная маска с собачьей мордой была как бы символом проклятия всех душ, оскорбленных в тебе печатью пощечины, которую Ангел – посланник небес – нанес своей карающей десницей.

Еще и поныне, сквозь воспоминание этой неистовой ночи, всплывает передо мною твой дьявольский лик; о, жрица литургии извращенной любви! От меня скрыты твой взор и чело – эти престолы более блистательного великолепия, чем надменная плотская красота, которой ты одной была наделена!

Од! Од! Ты отравила меня более жгучим напитком, чем горная смола, чем сок разъедающего зверобоя и сковывающей белладоны, куда ты влила, чтобы усилить остроту яда, кровь и пламень проклятых драгоценностей твоей плоти и с тех пор твоя маска – это подобие твоего ночного бархатного смеха – представляется мне двусмысленным украшением, насмешливым и мрачным, лживым и смертоносным, являющимся как бы символом всемогущества женщины!

Глава 37

Од сделала мне знак. И одежды ее с таким же проворством, как спали, поднялись с полу и одели ее. Словно все сидевшие там, и я в том числе, были жертвами галлюцинации: она под несмятыми тканями, казалось, сохранила нетронутой тайну своей красоты.

Один из пировавших поднялся, шатаясь, и заявил, что огни после такого зрелища не достойны освещать ночь. Это был чуткий к великолепию жизни художник.

Но женщины закричали: «Долой маску»!

Как злобные менады, они взмахивали своими кулаками.

Царила какая-то суматоха. Благодаря всеобщему беспорядку мне стоило растолкать лишь несколько стульев, чтобы добраться незамеченным до лестницы. Од уже опередила меня.

– Бежим, бежим! – проговорила она.

Ее юбки кружились, как крылья зловещей птицы. Мы были похожи на двух злоумышленников после подозрительного деяния. Опрометью кинулись мы по улице в сумерки чуть брезжившего, грустно пробуждавшегося дня.

Исчезнувший хмель оставил во мне лишь угрюмую подавленность. На спине выступал пот. Я не мог остановить лихорадочно стучавших зубов. Мне казалось, что я избежал когтей кошмара, сборища призраков, ужаса человеческого жертвоприношения.

Од со страстью прижималась ко мне. Ни она, ни я не обмолвились еще ни единым словом, как будто после такого происшествия никакие слова не были в силах заполнить бездну молчания, где я был так близок к смерти, где, быть может, она чувствовала себя ближе к смыслу своей жизни.

В двери щелкнул замок.

Лишь под одеялом, при мерцающем сиянии света я понял, что мы – у себя.

– Нет, нет, – воскликнул я в тот миг, – не надо света! Не надо, чтобы свет озарял наши лица!

Я услышал, как она тихонько засмеялась и взяла мои губы в свои среди наступившей темноты.

Страх обливал мое тело холодным потом. Я разразился рыданием. Отдернул свои губы и извивался от муки, проклиная и заглушая подушкой свой плач. Самые острые иглы, сверлящие кости, не терзали бы меня с большей жестокостью.

Од! проклятая Од! уходи! Все кончено.

Я не испытал еще ни разу такого отчаяния. Стал чувствительным, как юноша, еще не изведавший утolenия страсти. Я стал падшим человеком, низринутым на дно пропасти, отчаявшимся в благодати исцеления.

Если есть такие загробные весы, где взвешиваются злые и добрые деянья, то сила моей муки в этот миг должна была бы искупить часть моих пороков.

Я бил руками по одеялу, стучал о стену этим лбом, склонившимся у ног Зверя и засоренным черным вином неистовой похоти. Я хотел бы, вырвав глаза, разрушить ужасный призрак тела, сверкавший как вызов, брошенный любви.

Глубокая темнота окутывала нас. Она была символом моих падений, как и духовная темнота, в которой прозябала моя душа. Мои нервы напряглись, я потерял сознание и погрузился в сумрак бессознательности.

Когда я открыл глаза, Од сидела у постели в мгlistом свете утра, проникавшего сквозь занавески. Ее бесстрастное лицо было обращено в мою сторону.

Она не сказала мне ни слова и только искоса взглядывала. Меня охватывало легкое забытье, безмятежная сладость возврата к жизни.

В тумане мыслей предметы вокруг принимали неясные очертанья. Я чувствовал негу пробуждения вслед за долгим, благодатным сном. Казалось, ночь унесла под своим черным покровом все тайны. Сама Од казалась чуждой сумрака, чуждой тайн.

Но почти в то же мгновенье действительность пронизала мой мозг.

Белесоватое, серое лицо Од, освещенное тусклыми свечами, вызвало во мне такой ужас, что я закрыл, чтобы не видеть, ладонью глаза.

День изранил меня, как будто настиг меня в моей дрожащей наготe. И сам он тоже как будто был ранен, взглянув на это лицо трупа и не будучи в силах озарить его своим сиянием.

– Спусти занавески, Од! – сказал я ей. – Умоляю тебя, спусти, пока я не открыл глаза. О! Зачем я не остался там, по ту сторону жизни? Зачем мне суждено все это снова пережить?

Я чувствовал теперь себя беспомощным, как ребенок. Мое мучительнее страдание было непоправимой болезнью, которая заструилась в потоке слез, ибо я снова заплакал.

Она легла рядом со мной, не снимая платья, руководимая каким-то подобием приличия и раскаянья, заставивших ее как будто для меня одеться, как она разделась для других. Эта хитрость вызвала во мне только еще большую жажду ее наготы. Но я не поддавался, отталкивал ее, однако уже не ненавидел ее больше. Я не хотел ее, как любовницу, унижавшуюся из-за того, что была не верна.

– Од! Что ты сделала? Твоим телом, которое было моим счастьем и безумьем, обладали люди своими похотливыми глазами! Я никогда не в силах буду глядеть на тебя, не вспоминая той проклятой ночи!

Ее губы коснулись моего уха. Она прошептала мне, как жрица после совершения тайного обряда, с каким-то печальным и гордым оттенком в голосе:

– Ты – дитя, ничего не понимающее в средствах, которые нужны, чтобы вызывать наслаждение! Ты не понял, значит, что все это я сделала только для тебя!

О! Как была она искренна, признаваясь в этих своих намерениях. Ее голос принял оттенок сердечности и доброты, чтобы я подчинился ее позорному предложению. И не зная, что она хотела еще сказать, я уже верил ей. Ей было уже легко срывать с себя одежду после того, как она предстала нагой блудницей из дома любви.

Все мои грезы снова воскресли, все части моего существа застыли в ледящем наслаждении, в пугающей красоте мгновенья, когда, казалось, она была охвачена страстью сильней, чем я.

– Од! Од! Возможно ли?

Она вкушала дыханье моей груди губами, которые молвили мне:

– Вот видишь, верь своей Од! Она одна была спокойна среди всего того безумства! Да, теперь горечь и сладострастье свяжут нас навеки вместе неразрывными узами!

Она положила руку на мои глаза, и я чувствовал по движению ее тела, что она перегнулась за постель и вдруг отдернула руку.

Она лежала возле меня с черной маской на лице, как сама смерть.

Со своей маской! Слышите ли, со своей маской!

Она не могла бросить мне более жестокого вызова. И, однако, вид этого куска картона, который тогда при свете ламп, казалось, обнажал ее еще сильней, не вызвал теперь во мне ужаса, как недавно, когда я увидел ее лицо у кровати.

О, она умела выдавить все соки из ядовитого плода! Она была зеленым и багряным вертоградом хитроумной плотской любви.

Маска повергла меня в новый припадок рыданий жгучей, раненой чувствительности. А Од приблизилась к моему лицу и сжала мои губы своими. И в тот же момент меня всего пронизало всей силой желанья и ревности. Я не верил, что в таком глубоком извращении могло быть столько возбуждающего наслаждения.

Я хотел ударить, но руки мои опустились, как плети. Я омыл своей слюной, кусал жадным ртом ее тело, которое осквернили вожделием жадные взгляды. Она истерзала меня любовью, пыткой, грехами мысли, более ужасными, чем грех деянья.

Шипы снова вонзились в меня. И снова всплыло передо мною в судороге страсти обнаженное виденье. Она превратилась в бесстыдное тело с горящими глазами, озаренными светом люстр.

Глаза множества людей словно срослись с этим телом и вспыхивали красными искрами, очаровывающими и грязными огнями.

И тело ее через тысячи ран истекало кровью. Раны облекали ее наподобие огненной туники, которая трепетала от бешенства моих ласк. Они горели и разрывались под натиском моих лобзаний, полных гнева. Я чувствовал во рту какой-то горький, едкий, какой-то неведомый вкус.

Теперь я понял, почему Од дала людям зрелище своей наготы. Никто из них никогда не подозревал ни смысла этого подобия жертвоприношения, ни значения той извращенности, которая привела ее к мысли о публичном заклении своего тела, как о средстве вызвать всепожирающее возбуждение только в своем единственном избраннике.

Это была тайна нечестивого причащения, где под видом крови и плоти она проникла до отравленных источников моего существа и вновь вызвала потерявшее силу обаяние забытых чар.

Ализа! Любимая Ализа! Маленький дикий зверек, объятое девственным безумьем сердце, зачем я не внял знаку твоей руки?! Твоя дорогая тень советовала мне бежать и лучше уйти туда, куда ты сама ушла, чем поддаться ужасным чарам. Там, по ту сторону жизни, ты пребывала моим спасеньем, а я не послушал тебя!

Глава 38

Этот новый обряд словно заколдовал наше наслажденье. Как будто посвятил меня в священный орден Зверя.

Од ложилась в постель и надевала на лицо маску, словно облакалась в знаки звериной власти, словно закутывалась в звериную шкуру прядями своих волос, этим символом наряда из пламени и смолы.

И тогда меня начал терзать изнуряющий зной. Словно шпанские мухи глодали мне кости и всего меня пронизывало каким-то ужасным неослабевающим ядовитым пламенем.

Никакие лекарственные средства не могли бы поспорить с возбуждающей силой этой притворщицы, которая воскрешала предо мною все карнавальное торжество, распутство взоров и огней.

Ужасающая правда предстала передо мной еще неумолимей. Од обладала мной до самой крови моих жил, до глубины костей, как мясник, как жрец, закалывающий жертвы.

Какой-то зверь рычал во мне, привязанный в клетке на цепь. Дверь в нее не была закрыта. Вдали зеленели деревни с их здоровой жизнью и луга под летним зноем разливали оздоравливающее благоухание, но нерасторжимые цепи крепко держали меня. Ведь тупой бык не отворачивается от ножа, рассекающего ему сонную артерию.

Ее искусство на мгновение доставило мне острое, отравляющее блаженство. Я мучился от боли и стыда. Я не смел больше взглянуть в зеркало на свое лицо, с которого навсегда слиняла красота. Чувство непоправимой ошибки снова охватило меня с пронизывающей силой и ясностью.

Порой, когда отсутствовала Од, я предавался мрачным и искренним рыданиям: в эти моменты я хотел искупить свое паденье и в то же время чувствовал себя бессильным и безвольным.

А Од, скрытная и зоркая под своей бархатной маской, смеялась над переживаньями моей души, в которой под бессильным архангельским мечом снова воскресали отрубленные части гидры. Она была только слишком права, так как за этим моментом всегда следовали периоды безвольной покорности и тупого оцепенения.

Тяжелый чад мака, дурман гашиша подавляли меня, как видение мрачной преисподней, как тяжелый и обезличивающий кошмар.

Од схватывала мои губы своей волчьей пастью. Влечение, безумная судорога в тот же миг передергивали меня. И у меня оставалось после только какое-то едкое ощущение, как от цыкуты и гнили.

Но Од слишком переоценила мою пассивность и потеряла поэтому надо мной силу своей власти.

Пределы природы были превзойдены. Зубья той бороны, которой она взрывала мою страсть, притупились. Она старалась вытравить из меня всякое проявление моего тела, превратить его в гнилое и рыхлое мясо – и этим, казалось, вызвала неизбежное противодействие моей слишком рабской немощности. Мне стало претить, в конце концов, вечное искупление слезами и поцелуями незаживающих ран, искупление мучительным покаянием моего унижения, вследствие которого я становился сообщником этого коварного и деспотического тела.

Отвращение мое превышало всякую меру. Мое внутреннее существо, оскорбленное унижением и раболепством, обнаружило скрытую силу противодействия, разрывающую даже самые прочные связи.

Мною овладело какое-то мрачное состояние физического бессилия и нравственной угнетенности, в котором затеплилась надежда на освобождение. Од видела в этом временный упадок моих сил, вынужденный отдых организма после слишком продолжительных эксцессов. И,

так как это случалось со мною и прежде, – она попыталась было заврачевать мой недуг своими коварными хитростями, но ее насмешливое старание изобличало слишком явный расчет. Оно производило на меня действие, подобное яду, который оттягивал смерть только для того, чтобы сделать ее более неизбежной. Ее плутовские заботы были подобны опьянению, под влиянием которого я становился податливее к пытке.

Наши отношения обострялись. Пререкания, наступавшие по малейшему поводу, усиливая разлад, восстанавливали прежние мучительные сцены. Жизнь стала для нас рядом раздоров и примирений. Когда я возвращался к ней, она брала мои губы в свои, и я уже не помнил, почему уходил от нее. Но, вместе с тем, в моменты просветления я мысленно срывал с нее маску с черными расщелинами глаз и разрывал ее в клочья.

Талисман, заколдовавший всякое мое сопротивление, был разбит. Лишенные этого жалкого средства, наши отношения оказались самой неприкрашенной ложью.

Мера была переполнена. Я осмелился даже растолковать ей, что такое существование было позором для нас обоих. Она не выказала ни удивления, ни печали. Казалось, предоставляла событиям разыгрываться помимо нее, словно на самом деле не придавала этому никакого значения, как будто все это было только временною вспышкой.

– Да, – сказала она мне, – это, может быть, очень умно. А разве...

Не знаю, почему она вдруг засмеялась. Я боялся, как бы она не произнесла того жестокого слова, которое обрекло меня ей, как животное мяснику.

«Да, – думал я, – она непременно это скажет».

И ощутил какую-то тревогу до мозга костей, как будто в тот момент, когда наступило порвать цепь, все мое существо содрогалось, словно принадлежало ей. Я выжидал, чтобы она произнесла то, что во мне, во всем моем существе было ей обречено. Вот почему в ее смехе скрывался для меня такой страшный смысл.

– А разве, – закончила она как будто после минуты раздумья, – вы не властны над собой? А!.. Вот что! Она говорила, что я над собою властен!

С таким же правом она могла сказать, что и баран так же властен обратить кож против мясника. Мог ли я быть уверен, однако, что не поддаюсь мимолетному порыву? Теперь я понимал причину ее смеха. А между тем она мне говорила без насмешки, хотя не было более злой и жестокой насмешки.

– Ну и прекрасно, – промолвил я, собираясь с духом как перед тем, чтобы перескочить через ров. – Если ты согласна, мы можем расстаться.

– Ну да, конечно, – сказала она, – нет ничего проще. Странно, почему это нам не приходило в голову раньше.

И с этого мгновенья она стала какой-то покорной и тихой, как будто уже не сомневалась больше, что я действительно властен над собой.

И в этот, как и в следующий день, она не касалась уже моих губ своими.

Я решил покинуть город и поспешить с приготовлениями к отъезду.

Но вечером на третий день она вошла в мою комнату и захотела поцеловать меня в губы.

– Послушай, Од, – грубо возразил я ей, – на паперти собора была нарисована такая же девка, как ты, сидевшая на коленях монаха. Оба они сгорали в огне, но ни один из них не знал, что пламя уже касается его тела.

Сравнение это не имело ничего общего, кроме разве того жеста, с которым она предлагала мне свои губы, а я боязливо пятился, охваченный робостью и раскаяньем. Но я все-таки не замолчал:

– Од! Од! Монах горел, а у этой девки была собачья морда! Разве это не дьявольски ужасно?

Она мягко ответила мне:

– Не понимаю, что вы хотите сказать. Но, если вы верите мне, мы еще раз пойдем туда.

И указала мне на постель.

Рыданья душили меня.

– Нет, не надо этого, дорогая моя Од! Никогда больше и ни за что. Пойми, с этого дня мы должны разойтись в разные стороны.

Она пожала плечами. В ней не было ни тени возмущения. Она сказала мне с ясным, почти детским взором:

– Ну и ладно! Пусть будет, как вы хотите. Но ведь не я первая вернулась тогда. И теперь вы же снова уходите первый.

– Да, – ответил я с ужасной скорбью в сердце, – там были мирные люди и простые души. Я все покинул, чтобы вернуться к тебе. Ах, Од, зачем ты меня не любила! Я никогда бы не ушел!

Красотой дышало ее тело, словно дикое животное, словно неукротимая тигрица. Я дрожал, не смел взглянуть на нее.

Она сделала шаг в мою сторону и снова принялась смеяться своими немymi губами. А я грубо окликнул ее:

– Уйди прочь! Уйди вон!

Она посмотрела на меня с удивлением, как будто я лишился рассудка и, повернувшись к зеркалу, спокойно поправила на себе шляпу, слегка прихлопнув с боков руками. Казалось, она на самом деле была поглощена этой мелочной заботой. И, стоя позади нее, я увидел себя с смешным и нелепым жестом в светлом овале зеркала.

Она двинулась к двери. Ее чудные бедра плавно колебались. Только когда взялась за дверную ручку она как будто вспомнила, что я все-таки был чем-то в ее жизни.

– Я вот что хотела тебе сказать, – промолвила она. – Если я тебе надоела и ты отправляешься на необитаемый остров, то помни, что, если даже ты встретишь там какую-нибудь девицу и полюбишь ее, – ты будешь думать обо мне и тогда, когда она будет раздеваться для тебя. Но, если на этом островке не будет никого кроме одного тебя, ты будешь валяться в траве, будешь обнимать руками землю и обладать ею, выкрикивая мое имя. Од – не из таких, которых забывают!

Я затворил за нею дверь. И думал: «Теперь надо спешить, как если бы дом был в огне».

Од пришла ко мне в последний раз. Мы обменялись только несколькими словами без всякого отношения к предстоящей разлуке. Я предложил ей сохранить в память нашей любви мою мебель. Это было моим завещанием человека, который для нее вычеркивался из жизни. Согласившись на мое предложение без возражений, она, казалось, не таила никакой задней мысли, но в тот момент, когда я отдал ей ключи, она отвернулась в сторону. Не знаю, смеялась ли она...

У меня был такой вид, словно я уже мечтал о возвращении. Однако, я решил никогда больше не видаться с ней. Мы пережили такие страдания, что только одно избавление казалось для нас обоим единственным возможным благом.

Необъятною нежностью и надеждой на новую жизнь наполнило меня в эту светлую минуту.

– Од, забудьте меня, как я постараюсь забыть вас!

Говоря ей это, я взял ее руку, и слезы хлынули из глаз моих.

Она первая напомнила мне о моем настойчивом решении. Открыла дверь. Холодно кивнула мне в знак прощания. Спустилась вниз на две ступеньки.

Сердце мое разрывалось. Я готов был крикнуть ей, но она обернулась и сказала мне спокойно и твердо:

– Когда вы вернетесь, постель будет готова, как и в тот раз.

Глава 39

Я возвратился в отчий дом. Старый пес умер от старости на своем посту. Кошка так много наплодила котят, что ими были полны все окрестности. И неизменно, как старая парка, плетущая нить в очаге, сторожила служанка, набожно хранившая образы прошлого. Эта преданная старушка рассказала мне обо всех этих событиях, когда я вошел. Ничего другого не произошло с тех пор. Словно я только что вчера уехал.

Червь еще сильнее источил деревянные части стенных часов, которые пробили час моего рожденья и час смерти отца.

Один только я переменялся. Один лишь я возвращался в этот вечно стоявший дом с душой истерзанной, с разбитым телом.

Подсвечники стояли на камине перед пустой кроватью, откуда грустно смотрело на меня холодное, торжественное лицо вечности.

Я поднялся в каморку деда под самой кровлей. И там, как в былое время, когда он плел свои силки, дышала какою-то внутренней жизнью тишина.

И он, и мой отец друг за другом отошли в вечность и спали мирным сном рядом с моей матерью. Но дух их жил среди праха и пыли, как будто их тела не поддались тленю, как будто они только оставили свои места на время. И на железной койке моего милого великана я вспомнил об Ализе, маленькой утопленнице с берега вод!

Дорогая тень! Быть может, она своей внезапно пробудившейся любовью больше всех меня любила. Ализа! Ализа, я пойду к лугам, нарежу тростнику и обнесу оградой место, где целовал твои безжизненные глаза.

Но я не знал одного: стояла ли еще там рощица, вблизи которой впервые я встретил ее, когда она пасла коров.

Я плакал благодатными слезами. Их влага меня освежила. Я чувствовал себя таким старым, как будто из века в век влачил за собой мировое горе, подобно человеку, узревшему смерть и ныне воскресшему.

И в том же самом доме я почувствовал первые приступы болезни.

С течением времени мной овладело великое спокойствие, глубокое отрадное успокоение, подобное погружению в воды забвенья.

Среди этого безмолвия комнат я не производил большего шума, чем воздушные призраки, которые скользили по ним, будя воспоминания о прежней жизни.

Я блуждал со своей разбитой жизнью в руках, словно нес реликвии, боясь их растерять по дороге.

Я снова покоился в своей юношеской постели. Жил некоторое время за наглухо закрытыми ставнями таинственной жизнью, с одной старой служанкой, как хранительницей моих родных теней. Об Од я не думал. Мы расстались в ужасной пресыщенности извращенной любовью.

И стал я другим человеком, видел вещи другими глазами. Болезнь моя была не тем, о чем мне говорили, – не была сладострастьем тела, искусством вызывать из него наслаждение, как поэт извлекает прекрасные стихи, как ваятель высекает узоры из мрамора и металла.

Нет! – тело мне было дано природой как источник радостей, как свободное и личное обладание для того, чтобы я наслаждался гармонией, сочетающей в нем мои нежные и лучезарные чувства, чтобы за столом моим всегда, во всякое время дня находились чудесные плоды для утоления голода и жажды.

Я пришел в сад любви, в желанный плодоносный сад женщины, прекрасного девственного животного – но не в этом зло. Против безумных порывов духа, ради сохранения мирового равновесия, в телесном существе заложены прочные и глубокие устои.

Единственный раз среди ночной мглы леса узрел я в простоте души ее волнующую и чистую, как образ Бога, красоту. И этой величественной красоты я никогда уже не встречал больше. Мы оба – и Од, и я – предали Зверю.

Это было жалким убожеством и святотатством, возникшим из муки презренного тела, из горького сознания в навеки потерянном Рае.

С тех пор я стал одержим бешеным, мистическим эротизмом, сам превратившись в зверя, как во времена Ваала. Я влачил укоры моей силы за то, что презрел божественный смысл, заключенный в моем теле, презрел невинного животного, родного брата тварей, цветущих растений и метеоров. Я потерял невинность первобытного состояния, и в искренней ласке здоровой и нежной женщины мне было навсегда отказано.

Увы, теперь на всех женщин, которых когда-нибудь полюблю, я буду смотреть, как на нечистый знак Идола.

А эта кукла с драгоценными побрякушками, со своей размалеванной красотой была лишь игрушкой любви, боготворимой мужчинами нашего времени. Еще ребенком ее растили для ритуалов гарема, как священную куртизанку. У ней был узкий лоб, склонявшийся под тяжестью дикой гривы. Под нею клокотала большая душа с мозговым веществом, нравственно отличным от моего, как будто свой пол, этот орган жизни и смерти, она носила в своей черепной коробке.

И весь мир был ее храмом. Поэты и артисты разукрасили ее драгоценностями, чтобы озарить ослепительным блеском жертвы, которые ей приносились.

В недрах земли погибал бессчетно истощенный народ, добывая, ради славы ее, драгоценные камни и металлы.

«Предшествующие мне поколения, – думал я, – также растаяли в горниле Од».

И моя успокоенная душа, утолившись целительным покоем, казалось, стряхнула с себя свою прежнюю горечь. Моя безмятежная и спокойная жизнь напоминала нежную осень после бурного, знойного лета.

Я начал выходить. Я любил слушать у ограды дома над мглистым городским вечером, как при ясном серебристом перезвоне колоколов раздавалась вечерняя молитва. Во мне воскресло бесконечно чистое воспоминание отдаленного детства, как благотворная тихая речь, зовущая к надежде. И не отворачивался я уже больше от проходивших мимо женщин.

Глава 40

Из дома рядом с моим порою спускалась в сад юная девушка, нежное невинное личико. Она бродила недолго по саду под кровлей листвы, среди цветов. Нас отделяла лишь каменная стена, увитая ползучим лютиком. Глубоким миром дышали ее следы на ярком песке дорожек, озаренном сияньем небес. Я знал, что у нее на ногах были легкие маленькие башмачки из белого холста.

Я глядел на эту девушку вначале равнодушно сквозь просветы жалюзи, которые меня скрывали от нее. Милая ткань ее одежды спокойно ласкала мой взор, развеваясь как облако вокруг ее маленькой груди. И сладострастное виденье не посещало меня: оно осталось там, в городе.

Я знал ее еще ребенком. Она жила за этой каменной стеной. Тогда она беспечно играла и смеялась, радуясь своей маленькой жизни, как птенчик. Приходили и другие дети. Я видел их из окон, сквозь розовую кущу цветущего летом Айланта. Из-за этого-то чудного дерева мой отец повздорил с ее родителями.

Никогда не мог я проникнуть в сад, где таинственно росла она вместе с ростом розовых ветвей. Теперь эти ветви кидали большую тень на дорожки моего сада. Я глядел из окна, откуда видел еще в детстве, как гуляла она среди ярких цветов.

О, какое волненье овладело мной, когда я почувствовал, что рядом, за стеной дышит и спит девственное существо, непорочная и непознавшая еще себя душа!

И я оживал в те часы, когда созерцал эту девушку. Она спускалась в сад, приближалась к кустам маслины, благоухавшим воском и миндалем. Их аромат достигал тонкой струйкой моей комнаты.

Я следил по освещенной дорожке за ее белыми шагами. Каемка подола ее светлого платья нежно развивалась, как серебристая морская зыбь, как взбитая волненьем пена. И она знала теперь, что в смежном доме есть кто-то, кого она знала в детстве. Порой она быстро вскидывала глазами, подобными переливам жемчужины и каплям утренней росы, блестящим в чашечке цветка. У нее были прекрасные золотистые волосы, напоминавшие копны спелой ржи августовской жатвы.

И вспомнилось мне такое же окно, за которым сидела юная девушка. То было так давно: Од еще не появлялась. У той девушки были тоже золотистые, с серебряным отливом волосы. В ее руках постоянно расцветали узоры из вышивальной шерсти, этой таинственной нити ее жизни. Однажды она вышла на улицу, порхая своим станом, и была такой же, как и все другие.

О! – сознавать, что и для этой девушки, для этого непорочного ребенка за стеной я был печальным юношей с дурными мыслями, созерцавшим игру нагого тела женщин сквозь ткани их одежд. Я отошел от окна.

Так было вчера, так было сегодня. Я забыл, когда все это было. Юная девушка легкой поступью спускалась в сад, как в легенде.

Глава 41

О, нет, эта маленькая белая душа утреннего сада – не была Од, не была Женщиной. Я чистыми глазами глядел на нее, окутанную легкими шелковистыми облаками муслина, как на райскую девушку, – непорочное существо с белоснежной походкой.

И некоторое время я ни о чем больше не думал.

Но раз, услышав погребальный звон, подумал, что таким же звоном будут провожать и меня когда-нибудь. Она, быть может, будет там и узнает, что это звон по мне и ей не станет грустно.

Эта мысль страшно взволновала меня.

Я представил себя лежащим между двумя подсвечниками, как отца и деда, одетых покровами смерти.

Кто пришел бы тогда ко мне? У меня не было друзей. В затхлом могильном запахе комнат жила одна служанка. А я лежал с холодным и торжественным лицом на кровати и – увы! – никогда не испытал великой любви.

До меня донесся звук захлопываемой зеленой калитки сада, окружавшего ее обитель. Малейший шум, раздававшийся в ее доме, мне стал теперь таким родным и близким. Я узнал по этому звуку, что она спускалась в сад. И вот она появилась. Сделала несколько шагов. На ней была большая светлая соломенная шляпа с нежно-голубым шелковым бантом. Я видел только ее золотистый затылок, но глаз ее не мог разглядеть.

Я тоже шагнул, подошел к окну и в первый раз растворил его.

В тот же миг она вскрикнула, как раненая птичка, побежала назад по аллее к дому.

Мне не было уже грустно и я не думал о погребальном звоне. Но слезы тихо скользили по моим щекам: я плакал о чем-то скрытом в моей душе и мне неизвестном. Увы, я не знал даже ее имени!

О, твое милое имя, с которым ты вступила в жизнь, которым называли тебя, когда ты была совсем маленькой.

Что же мне делать, если я был таким странным...

Я высунулся немного из окошка. Мне захотелось, чтобы она увидела меня. Вслед за тем она вышла, рассыпала свои маленькие белые следы, как цветы, по дорожке.

Она стала моей маленькой непорочной царицей Эдема. Ее появление вызывало на моих щеках девственную краску. И какое-то дуновение жизни, целое море жизни, врывалось в мою обитель с ее появлением. Я чувствовал, что живу в каком-то другом мире, где она уже являлась мне раньше.

Она была маленькой и вечной душой, которая из глубины веков шла ко мне навстречу, даря меня своими радостями жизни.

Неужели эта душа ждала тысячелетия в тени, за стеной воплощалась во множестве других жизней поколений и теперь вдруг шла по тропинкам сада!?

Я позабыл, что так же грезил и о других женщинах.

Глава 42

Чей-то голос позвал: Вив!

Мне вспомнилось, что ее звали этим воздушным и мелодичным именем.

Она больше не вскрикивала, как раненая птичка, когда я подходил к окну. И делала так, как будто меня совсем не замечала. Один раз она все-таки взглянула на мое окошко и с той поры взглядывала всякий раз. Я робко улыбался ей и часто говорил себе дрожащими губами:

– Здравствуй, Вив!

Я был теперь уверен, что люблю ее самой чистой любовью: я не был уже прежним, дряхлым человеком.

О, Вив! любимая Вив! Я долго, долго спал ужасным сном с бредом видений и вот я прозрел, я только теперь проснулся! И я непорочен, как свежее утро.

Порой в эти летние дни, после полудня, под трепетным сиянием облаков раздавались взрывы медных звуков, заглушенных далью расстояния.

Там под деревьями городского парка играла военная музыка. Я испытывал мучительное чувство сладости и бессильно рыдал. Я думал, что и она бессильно плачет у себя в комнате такими же слезами, как и ее лазурно-небесные глаза.

И снова я почувствовал страшную муку. Все существо мое всеми фибрами жило в унисон с жизнью таинственной обители моей дорогой Вив. Я придвинул кровать к стене, чтобы слышать смутный трепет того, что мне не было известно за отделявшей меня стеной.

Камни стали жить для меня жизнью чувства, манили к себе с каким-то волнением, как теплое, живое существо. И было уже поздно, когда я захотел отодвинуть кровать. Эти камни, оживавшие от прикосновения ее одежд, были из жирной, пористой глины и составляли часть великого организма уже тогда, когда еще не были обделаны.

Я наделил их необычайно тонкой восприимчивостью, благодаря чему они пропускали серебристый аромат ее волос и легкое дуновение ее дыхания.

Вив жила там за стеной!

Вив – подумать только – спала там ночью с едва прикрытым телом!

Раздались какие-то звуки и замерли. Послышался чей-то голос как будто с высокого балкона под сводами церкви, подобный голосам песнопений в месяц Девы Марии, тихий и веющий трепетом множества душ, как ветер над нивой ржи.

И ее маленькие шажки донеслись до меня из глубины дома.

Только камни стены разделяли нас, только одна эта перегородка, сквозь которую мог бы проникнуть трепет поцелуя. Но мне казалось, что этот трепет, исходивший от нее, приходил ко мне из-за той стороны жизни, такой же смутный, как мечта, и нежный, как томление пред воплощением мечты. Мне стало так сладко и приятно, и я совсем забыл, что этим я только потакал своей болезни.

Но я совсем и не думал вначале о том, что и у этой маленькой девы месяца Марии могла быть такая же грудь для ласки и любви, как у других женщин, которых я раньше любил.

Однажды вечером я отправился в дом с закрытыми ставнями, куда ходил и мой отец, так как перед этим я вдруг почувствовал нестерпимую тяжесть, благодаря долгому воздержанию. После этого посещения снова наступило успокоение на некоторое время. И я подумал:

«Каждый раз, как только меня станет искушать прикоснуться к ее священным одежкам, я буду по ночам ходить туда и умерщвлять в себе Зверя».

Но у меня не хватало сил отодвинуть от стены кровать и не прислушиваться к дыханию моей возлюбленной за стеной.

Когда я начинал размышлять об ее девичьей жизни, мысли мои беспорядочно перебивали друг друга и я не был в силах управлять ими. Безумие снова овладело мной.

С тех пор малейший шум, раздававшийся за стеной, я приписывал ей.

Острота моего слуха дошла до яркости галлюцинаций и доставляла мне сначала новые и неизведанные наслаждения, словно на самом деле какие-то невидимые лучи ее существа достигали меня и проникали в мое существо, словно ее грудь чувствовала близость моей за этой каменной стеной.

Я слышал, как спускалась она в сад, как захлопывалась дверь. Я подходил к окну и улыбался ей.

До сих пор мы не перекинулись друг с другом ни одним словом, ни одним жестом, который мог бы стать залогом нашей любви.

Я жадно пил алый цвет ее юных ланит, застенчивую прелесть ее улыбки. Я понял, что и она испытала таинственное влияние моего существа.

Я начинал думать и не мог освободиться от мысли, что нам суждено признаться друг другу в любви.

Дрожащими губами припадал я к тому месту стены, к которому, как мне казалось, она касалась своими устами.

О, Вив! Маленькая любимая Вив! Только одна прозрачная, легкая ткань едва закрывает твою грудь. Ты чувствуешь, как грудь твоя трепещет под твоими руками. Ты приближаешься к зеркалу, и увы – ты не обрела еще себя до этого мгновенья...

Все ужасное, разъедающее возбуждение прошлых дней снова охватило меня. Я с ужасом увидел, что во мне пробудилась страсть к ней, и я ее желал, как всех других. Од мне сказала своими немymi, смеющимися губами:

– Ты мой до самой крови твоих жил! Что бы ты ни предпринимал, ты все равно возвратишься ко мне через тех, кого полюбишь.

Ее чары сбывались. Ядовитая власьяница облекла мое тело и разъедала все мои кости. В моих бесплодных грезх о лучезарной, спасительной любви возродился прежний грешник.

Старые раны продолжали гноиться.

Я пробовал избавиться от этого навязчивого состояния одержимости. Уходил далеко за город, в деревню. Ходил слушать по вечерам благовест храма. Но силы оставляли меня, я припадал губами с диким рыданием, обливаясь слезами, к стене, стучал кулаками по этой каменной перегородке и задыхался от гнева и любви.

Вив! И тебя я теперь презираю! И ты поддалась этой гнусной любви!

Однажды вечером, чья-то маленькая ручка постучала в то место стены, куда я наносил удары кулаками.

Я не мог больше. Я совсем обессилел.

Все мои чувства застыли. Я весь превратился в слух. Глаза мои прозрели. Я ощутил тонкое сладострастное благоухание. Мне представилось, что пальцы мои ласкают ее... Она стояла нагая предо мной, блистая красотой своего стана.

Как белоснежный лотос на священных берегах распустилась она, девственная и желанная, в трепете своей юной крови.

Эта была великая тайна тела, не ведавшего жажды! То был неведомый, освежающий источник в чаще леса – чудесный воркующий ключ жизни под тенью часовни. Жемчужная вода любви, не оскверненная ничьим взором! Я был насильником среди благодатной отрады утра! Я был ловцом добычи, потаенным грабителем, заглядывающим за ограды! Наверное, и дед так же, как я, проникал в заповедный парк девственниц.

Эта девственная чистота Вив привела меня к тому, к чему приводили меня все женщины, давно уже развязавшие свой пояс. Она была еще ужасней. Она опаляла меня, как горящая смола.

Я ощутил вдруг странное беспокойство при мысли, что, быть может, и она в брачный час вопьется своими губами в мои.

И вот я сказал себе:

– Пойди, позвони у ее двери, переговори с ее матерью обо всем, сделай необходимые приготовления, потому что и она должна принадлежать тебе, как и все другие.

С бьющимся сердцем вышел я из дома. Направился к крыльцу ее дома. Но, как только поднес руку к кнопке звонка, сердце мое сжалось от ужасной тоски. Мозг мой пронизала страшная мысль: «Ведь и эту ты тоже бросишь на ложе любви после того, как она припадет губами к твоим устам».

И она уже перестала быть для меня нежной, девственной. Я никогда не чувствовал такой мучительной и святой скорби. И, повернувшись спиной к двери, побрел в дом с закрытыми ставнями.

Милая Вив! Я не тот, о ком ты мечтала! Я не увижу, как прекрасный вечер погаснет за деревьями моего леса. Я не увижу никогда, никогда чистого и прекрасного сияния заката милой жизни!

Глава 43

Так был я наказан за ошибки, происшедшие не по моей вине. Если бы в отрочестве мне раскрыли красоту моего тела и тела женщины, – у меня не возникло бы любопытства, которое погубило меня. Мне говорили:

«Тело твое и всякое человеческое тело – постыдная вещь».

И вот меня измучили голод и жажда к этому телу, и я был обречен любить женщин только сквозь горечь греха.

Я покинул город. Блуждал по всему краю.

Посещал врачей.

– Правильный образ жизни... режим. – Все говорили одно и то же.

Я их не послушался и вернулся к Зверю.

Когда я вошел к себе, Од мне сказала:

– Видишь, я уже приготовила постель.